

ДЖОРДЖ ВИТ-МЕЛВИЛЛ

ГЛАДИАТОРЫ

История в романах

Джордж Вит-Мелвилл

Гладиаторы

«Public Domain»

до 1878 г.

УДК 821.111(411)

ББК 84(4Вл)

Вит-Мелвилл Д. Д.

Гладиаторы / Д. Д. Вит-Мелвилл — «Public Domain», до 1878 г. — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03505-0

Джордж Джон Вит-Мелвилл (1821–1878) – известный шотландский романист; солдат, спортсмен и плодовитый автор викторианской эпохи, знаменитый своими спортивными, социальными и историческими романами, книгами об охоте. Являясь одним из авторитетнейших экспертов XIX столетия по выездке, он написал ценную работу об искусстве верховой езды («Верхом на воспоминаниях»), а также выпустил незабываемый поэтический сборник «Стихи и Песни». Его книги с их печатью подлинности, живостью, романтическим очарованием и рыцарскими идеалами привлекали внимание многих читателей, среди которых было немало любителей спорта. Писатель погиб в результате несчастного случая на охоте. В романе «Гладиаторы», публикуемом в этом томе, отражен интереснейший период истории – противостояние Рима и Иудеи. На фоне полного разложения всех слоев римского общества, где царят порок, суеверия и грубая сила, автор умело, с несомненным знанием эпохи и верностью историческим фактам описывает нравы и обычаи гладиаторской «семьи», любуясь физической силой, отвагой и стоицизмом ее представителей.

УДК 821.111(411)

ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-03505-0

© Вит-Мелвилл Д. Д., до 1878 г.

© Public Domain, до 1878 г.

Содержание

Часть первая	7
Глава I	7
Глава II	11
Глава III	16
Глава IV	20
Глава V	25
Глава VI	30
Глава VII	36
Глава VIII	42
Глава IX	46
Глава X	53
Глава XI	59
Глава XII	62
Глава XIII	68
Глава XIV	71
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Джордж Джон Вит-Мелвилл

Гладиаторы

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИД Литература», 2010

Часть первая

Глава I В царстве снов

Черные и суровые, в своей сибиллической красоте, хмурятся брови царицы ада¹. Милы сердцу ее пышность и могущество, необъятное величие и ужасный блеск подземного мира. Мила ей надменность ее неумолимого супруга и неизмеримая царственная власть, управляющая бессмертными судьбами душ. Но милее всего этого, милее даже блестящей короны, величественного скипетра и трона из массивного золота, те воспоминания, которые, как блестящие солнечные лучи, сверкают в этой области мрачного величия и словно освежают ее утомленный ум, подобно нежному ветерку, веющему из земных царств. Она не забыла, да и не может забыть, ни покрытых росой цветов, ни благоухания роскошной сицилийской флоры, ни сверкающего моря, ни летних туманов, ни золотистой жатвы, колосющейся и шумящей в этом саду, в этой житнице мира.

При этих воспоминаниях печальная улыбка озаряет ее надменное лицо. Суровая красота царицы как бы смягчается под этим лучом, и на минуту дочь Цереры становится смеющимся с самого раннего детства ребенком.

Так открывается дверь из слоновой кости, и нежные голуби на своих белоснежных крыльях летят через мрак, неся утомленному, разбитому и покинутому человеку успокоение и уладу. Вот сновидения, принесенные птицами мира уснувшему рабу с целью возбудить его упавшую энергию.

Лесной отшельник наконец загнан. Продолжительна и трудна была охота по разным лесам, где звучно звенит эхо, по лужайкам, залитым солнцем, по перелескам и долинам, утесам и пещерам, через кипящие ручьи и глубокие, топкие и гнилые болота. Без усталости загоняли его огромные дикие собаки, и вот наконец он прижался к пню старого дуба, решившись, как настоящий сын бретонской пустыни, дорого продать свою жизнь и отчаянно бороться до последнего издыхания.

Маленькие глаза его сверкают, как пылающие угли, грубая щетина стоит дыбом на огромном черном теле. Он мечется и брызжет около себя белой пеной и своими изогнутыми острыми клыками грозит то одному, то другому из своих многочисленных врагов, которые воют и скачут возле него.

– Ату! – кричит охотник, подбегая к нему с короткой и широкой рогатиной в руке. Измученный недавним бегом по диким лесам, он тяжело дышит, но его сердце радостно бьется в груди и кровь кипит в артериях. Он полон тем суровым чувством торжества, какое известно только фанатикам охоты.

Одна собака уже отброшена прочь, раздробленная и растерзанная от пасти до живота, но другая вцепилась зверю в горло, и в то же время блестящее стальное острие, занесенное молодой и мощной рукой, прошло сзади его шеи и пронзило грудь. Рукоятка рогатины ломается в тот момент, когда огромная масса медленно наваливается на него собственной тяжестью, и вопреки издыхает на этом дереве, нежном и шелковистом, как бархат, как эта редкостная зелень, встречающаяся только в Бретани...

¹ Первая глава представляет собой род пролога, где автор в отрывочных картинах, смутно проходящих в уме спящего героя романа, предлагает читателю сведения о его жизни до той поры, когда он выступает на страницах книги. Надлежащее разъяснение этих отрывочных и смутных картин дается в своем месте на протяжении романа. Царица ада – Прозерпина, супруга Плутона, по мифологии, посылающая голубей, приносящих сны человечеству.

Сновидение меняется. Вепрь исчез, и леса сменились роскошной, смеющейся долиной. Мирно пасутся бесчисленные стада косматого скота, подставляющего под ветерок свои рога-тые головы, и стада баранов покрывают зеленые волнообразные пастбища, вдающиеся в море. Чайка распахивает свои белые крылья и уносится в синее небо. В воздухе слышится жужжание насекомых, лай собак, мычание коров, женский смех и тому подобный шум, говорящий о мире, довольстве и счастье. Подле матери играет ребенок с благородным, милым лицом, золотистыми кудрями и смелыми голубыми глазами. Тело его дышит здоровьем, движенья быстры, он полон любви, привык повелевать и приказывать. Его мать – женщина высокого роста, с прекрасным, но печальным лицом – пристально смотрит на океан. Кажется, что она нечувствительна к ласкам ребенка, с любовью целующего ее белую руку, охваченную его обеими ручонками. Величественный стан ее облечен в белоснежную, ниспадающую до земли тунику, и золотые массивные браслеты украшают ее руки и ноги. Минутами она с любовью смотрит на ребенка, но всякий раз как глаза ее обращаются к морю, лицо ее принимает все то же озабоченное выражение. Недавняя печаль светится в этом пристальном взоре, еще того меньше – нетерпение, гнев или неудовольствие. Она вся – олицетворение одного чувства воспоминания, воспоминания нежного, всепоглощающего и непреодолимого, без проблеска надежды, но и без тени раскаяния. У одних из ворот форума есть статуя Мнемозины, на мраморном челе которой запечатлено то же гнетущее бремя мыслей. На нежных чертах этой статуи, отмеченных той грустной красотой, какую так любил афинский резец, лежит то же скорбное и безнадежное выражение. Где бретонский ребенок мог видеть это художественное наследие Греции, украшающее царственную столицу? А между тем об этой статуе думает он, глядя на лицо своей матери.

Но вот по телу этой прекрасной и величественной женщины пробегает дрожь. Она расправляет складки своей туники, берет ребенка на руки, прижимает его головку к своей груди и покрывает ее складками одежды, так как поднимается сырой, холодный ветер, и атмосфера насыщается туманом, сквозь который видны лишь бесформенные силуэты окрестных предметов. Житейский шум уступает место безмолвию необъятной, мрачной долины...

Ребенок и его мать исчезли. Вместо них выступает сильный и высокий юноша, только что вступающий в мужественный возраст, с теми же голубыми глазами и с тем же отважным лицом. Еще только в первый раз надел он на себя оружие воина. Он видел настоящие битвы, бесстрашно встречался с неудержимо надвигающимися легионами и, полагаясь только на свою природную силу, боролся с отвагой, тактикой и дисциплиной Рима. Теперь он подпоясал меч, взял каску и щит и не без юношеской гордости встал в ряды воинов, окружающих то священное место, где друиды совершают свои торжественные и таинственные обряды.

Туман становится гуще; он колышется по равнине неопределенными волнами, и чудится, что отвесные камни, замыкающие таинственный круг, приходят в какое-то фантастическое движение. По-видимому, еще никогда рука человека не касалась этих величественных гранитных глыб, серых, грубых и покрытых мохом, которые поднимаются кверху, неизменные и грозные, как истинные образы вечности. Они неопределенны и мрачны, как тот культ, которому они являются защитой, грубы и суровы, как беспощадная вера в жертву, мщение и гекатомбу, исповедуемая под их сенью. Монотонное, дикое пение доносится по ветру, и через морской туман в ограду вступает длинная процессия жрецов в белых одеждах. Вид их мрачен и зловещ; они высоки ростом, мощны телом, и их длинные белые бороды, заплетенные прядями, развеваются по ветру. На голове каждого из них дубовый венок, в руках жезл, украшенный плющом. Ребенок не может удержаться от крика удивления. Его мысли нечестивы и слова кощунственны. Пение поднимается все выше и выше, и круг суживается. Жрецы в белых одеждах вводят его в самую середину таинственного места, и – о, ужас! – мощная рука заносит над ним жертвенный нож, уже обнаженный и наточенный. Юный воин силится бежать, но ноги отказываются повиноваться ему и руки опускаются в бессилии. Он кажется окаменевшим. Безотчетный ужас охватывает его. Ему чудится, что и сам он превращается в одну из этих гранитных

глыб, которые останутся неподвижными навеки. Сердце останавливается в его груди, и превращение готово совершиться, как вдруг боевой взрыв труб прерывает очарование, юноша размахивает рогатиной над своей головой и радостно пробуждается, полный счастья при сознании, что он еще жив и может двигаться.

Сон меняется снова. Жрецы-фанатики и камни друидов исчезли, как окружавший их туман. Теперь это июньская, величественная и благоуханная ночь. Черные массы лесов посеребрены отблесками луны. Малейшее движение ветерка не колеблет высоких ветвей гигантского вяза, ясно и отчетливо выделяющегося на фоне неба. Никакая рябь не волнует поверхности озера, которое расстилается и блестит, как лист сверкающей стали. Спрятавшаяся в соседнем болоте выпь по временам испускает крик, и в роще поет соловей. Все исполнено покоя и красоты и внушает радостные, безмятежные мысли. Между тем, спрятавшиеся и тесно усевшиеся среди наперстянок и папоротников длинные ряды воинов в белых туниках ждут только сигнала для набега, а там, где до небес высится мрачный утес, взад и вперед прогуливается часовой, в высокой каске, охраняя спокойствие орлов², с невозмутимой бдительностью той дисциплины, благодаря которой воины легиона стали владыками мира.

Снова звучит труба среди этой массы палаток, расположенных в определенном порядке позади окопов. Только и слышится этот шум, да твердый и мерный шаг римской стражи, идущей сменить часового. Еще мгновение, – это дело будет исполнено, и тогда – или никогда – должна произойти атака, с некоторой надеждой на успех. Молодость не терпит такого замедления; с мучительным нетерпением юный воин ощупывает острие сабли и кончик своего короткого дротика. Наконец приказ пролетает по рядам. Как гребень волны, разбивающейся пеной, поднимается по знаку товарища этот белый колыхающийся строй, вытягивающийся во всю длину при свете луны. Потом слышится смешанный гул голосов, шум быстрых шагов, и волна устремляется и разбивается о неодолимую твердыню окопов.

Но войско с такой дисциплиной нельзя застигнуть врасплох даже во время сна. Прежде чем отголосок труб отдастся на далеких холмах, воины легиона бегут по лагерю к оружию. Вал уже покрыт, как щетиной, сверкающими щитами, шлемами, дротиками, мечами и копьями. Римский орел пробуждается, и вместе с ним пробуждается и его недоверие. Правда, перья его еще топорщатся, но клюв и когти уже наготове и заострены для обороны. Центурионы устанавливают своих солдат в ровные, правильные ряды, как будто им предстоит не отражать атаку варвара – врага, но пройти перед троном цезаря. Трибуны с золотыми нашлемниками спешат на свой пост по четырем концам лагеря, а сам претор, стоя в середине, спокойным и холодным голосом отдает приказания.

Заглушая рев бретонцев, резкие звуки трубы, ясные и понятные, как человеческий голос, передают приказания, и далеко слышны они сражающимся, внушая им отвагу и уверенность, внося порядок в момент замешательства.

Размахивая своими длинными мечами, бретонцы в белых туниках шумно устремляются в атаку.

Они уже засыпали ров и взяли приступом земляные укрепления. Но несколько раз суровая дисциплина неодолимого завоевателя отбрасывает их назад, и короткий меч римского солдата, защищенного широким щитом, производит страшную резню в рукопашной схватке. Однако осаждающие бросаются снова. Лагерь отбит и переполнен ими. Юный воин, исполненный боевого веселья, появляется там и сям, усыпая землю грудами врагов. Такие минуты стоят целых годов мирного существования. Вот наконец он достигает преториума.

Он почти подле орлов и безумно бросается к ним, чтобы торжественно поднять эти трофеи победы, но старик-центурион опрокидывает его к своим ногам. Товарищи уносят его,

² Орлы – знаки римских легионов, заменявшие у римлян знамена во времена республики и империи. Синоним римской армии.

раненного, потерявшего сознание, истекающего кровью, но все еще держащего в зажатой руке древко римского штандарта. Они кладут его в фуру погоняют диких коней, и кони несутся галопом. Стук колес раздаётся в его ушах, когда они в беспорядке несутся по равнине. Затем...

Затем краткая миссия исполнена. Голуби возвращаются к Прозерпине, и молодой, жизнерадостный, торжествующий победу бретонский воин пробуждается римским рабом.

Глава II

Под мраморным портиком

В самом деле, сон раба был нарушен стуком повозки, но как велика была разница между сценой, представившейся его отяжелевшим глазам, и теми картинами, какие проходили в его воображении, когда он находился в тенистом царстве сна!

Великолепный портик, поддерживаемый легкими колоннами из белого гладкого мрамора, защищал его от лучей утреннего солнца, уже распространявшего палящий зной, свойственный итальянскому климату. Гирлянды листьев и цветов представляли приятный контраст со снежной белизной величественных колонн, вокруг которых они обвивались, и гармонировали с нежной резьбой коринфских капителей. В больших и толстых каменных вазах в виде урн, расставленных через правильные промежутки по длинной линии, росли померанцы, мирты и другие густолиственные кусты, сильно отягченные цветами, и благодаря этому место казалось прелестным, уютным уголком. Прекрасные статуи стояли в нишах и высились в промежутках колоннады. Здесь мраморная Венера, в стыдливом сознании своей бесподобной красоты; там – великолепный Аполлон, лучезарный в своем божественном совершенстве. Рим не владел резцом с таким умением, как Греция, его наставница и мать искусств, но ничто из того, что может произвести искусство, создать гений или купить золото, не могло ускользнуть от руки, мощно держащей меч. И что удивительного в том, что шедевры и сокровища покоренных народов обогатили царственный город, владычествовавший миром? Там, где на ложе из искусно вырезанного дерева, покрывающего гору Гимет, лежал спящий раб, из ниши на него внимательно смотрела сова, высеченная до такой степени искусно, что ее перья, казалось, слегка раздувались от дыхания ветерка. Недаром за нее было заплачено столько золота, сколько хватило бы на покупку дюжины подобных ему рабов. Она была привезена из Афин, как образец художества скульптора, в своем религиозном рвении посвятившего ее Минерве. Утонченность, роскошь, даже излишество безраздельно царили всюду, начиная с самого входа в помещение римской матроны, и даже сама земля в портике, которой никогда не касалась ее нога, была заботливо и часто посыпаема песком, как будто она предназначалась для чего-то иного, а не для ног ее носильщиков и колес повозки.

Какая-то тишина или, скорее, какое-то торжественное спокойствие всегда царит около домов вельмож еще долго спустя после того, как люди низшего положения начнут суетиться, заботясь о своих делах или наслаждениях. Сегодняшний день, праздник рождения Валерии, был всегда свято соблюдаем, и теперь об этом говорили гирлянды, повешенные на колонны портика. Но как только этот красивый обряд был выполнен, молчание, казалось, снова воцарилось в доме, и принесший подарок от своего господина раб, сны которого мы описали, дошел до самых дверей и, не встретив слуг, сел в ожидании под приятной тенью. Истомленный зноем, он мог бы спать здесь до самого полдня, если бы его не разбудил стук колес повозки, явившийся странным продолжением его сна.

Остановившаяся под колоннадой повозка была не простой плебейской колымагой. Подъехав с бешеной скоростью, она порывисто остановилась, и запряженные в нее прекрасные кони загорячились и уперлись. Двухколесная повозка была сделана из прекрасно отполированного дерева – дикой смоковницы, с изящными инкрустациями из слоновой кости и золота. Спицы и ободки колес изображали виноградные листья и цветы, а на конце дышла, оси и хомута была в высшей степени тонко вырезана голова волка, того животного, которое, по историческим основаниям, всегда было мило воображению римлянина. Кроме возницы в повозке сидело только одно лицо, и благодаря такой незначительной тяжести она могла ехать с необычайной быстротой, в особенности когда в нее запряжены были такие четыре коня, как те, что в этот момент били копытами и гарцевали перед портиком дома Валерии. На шерсти молочной белизны

резко обрисовывались их черные рты, а синеватый оттенок шерсти говорил об их чуткости и о восточном происхождении. Их шея и загривок были несколько толсты, и морда кругла, но широкая и длинная голова, маленькие дрожащие уши и растопыренные, налившиеся ноздри выдавали чистоту крови и говорили о быстром и долгом беге. Короткие, округленные крестцы, выпуклые мускулы, мясистые ноги и изящные копыта сулили силу и быстроту, отличающую самых благородных животных.

Роскошные бегуны были запряжены в ряд: средняя пара, почти так же, как в современном кабриолете, пристегнута к дышлу, шпильки которого были сделаны из золоченой стали, а две боковые лошади, приводившие повозку в движение посредством одного общего ремня, прикрепленного к обоим концам оси, могли свободно направлять свои движения куда угодно и сколько угодно брыкаться. И они, по-видимому, воспользовались своей свободой, как только было возможно.

Раб поднялся в ту минуту, когда одна из лошадей, встав на дыбы, прыгнула в сторону при виде неожиданного лица и, частью от страха, частью по дикости, громко фыркнула. Когда повозка проезжала мимо раба, ось задела его тунику, и возница, раздраженный беспокойством коней, или, может быть, просто, по нахальству, свойственному фавориту знатного человека, изо всей силы стегнул его своим хлыстом. Кровь закипела в бретонце от негодования, но с быстротой молнии его сильная рука предупредила удар и ремень закрутился за его ладонь. Он проворно вырвал оружие из рук кучера и уже готов был с лихвой отплатить ему за оскорбление, но остановился при виде невнушительной наружности своего оскорбителя.

– Я не сумею ударить девчонку! – презрительно крикнул раб, бросая хлыст внутрь повозки, к ногам пышно разодетого патриция, который, сидя в ней, забавлялся неудачей своего кучера с весельем, свойственным господину, потешающемуся над своим подчиненным.

– Славно сказано, ай да герой! – смеясь, воскликнул патриций и прибавил надменным и вместе с тем шутивным тоном: – А ей-ей, я много не поставил бы за того, с кем ты схватишься. Клянусь Юпитером, у тебя руки и плечи Антея. Чей ты, приятель, и что ты тут делаешь?

– Кабы я был на земле, я бы хлестнул его снова и на этот раз поудачнее! – вставил пришедший в азарт кучер, красивый юноша лет шестнадцати. Длинные, развевающиеся по ветру волосы его и богатый ярко-красный плащ выдавали в нем любимого и избалованного служителя. – Смирно, Сципион! Стой, Югурта!.. Ну, теперь лошади будут брыкаться по крайней мере час, поvidaвши такую отвратительную рожу.

– По-моему, Автомедон, тебе лучше оставить его в покое, – заметил господин, смеясь во все горло над досадой, написанной на лице его любимца. – Я бы советовал тебе для твоей же пользы поскорей ударить от человека с такой пастью, все равно как от быка, у которого на рогах клок сена. Ну разве ты не видишь, мальчуган, что он тебя проглотит за один раз? Только сумасшедший будет драться без уверенности, что ему удастся поколотить противника, не размозжив своих кулаков! Но что ты тут делаешь, приятель? – повторил он, снова обращаясь к рабу, который стоял, меряя допросчика безбоязненным, хотя и почтительным взором.

– Мой господин – твой друг, – отвечал он, – и ты ужинал с ним в последнюю ночь. Впрочем, не надо быть слугою Лициния и проводить свою жизнь в Риме, чтобы знать трибуна Юлия Плацида.

Усмешка польщенного тщеславия озарила лицо патриция, когда он выслушивал этот ответ, и теперь его лицо приняло одновременно хитрое и злобное выражение.

Всегда бесстрастное, это лицо было почти красиво, отличалось удивительной правильностью и озарялось рассудительным спокойствием, близким к рассеянности. Но когда он был возбужден каким-нибудь мимолетным впечатлением – что случалось иногда, хоть и редко – в усмешке, освещавшей его лицо зловещим пламенем, было что-то поистине дьявольское.

Раб был прав. Среди всех знатных лиц, толпившихся и теснившихся на улицах Рима в этот бурный период, ни одно не пользовалось такой известностью и не вызывало столько угод-

ничества, лести, почета, ненависти и недоверия, как обладатель золоченой повозки. Теперь было не то время, когда можно быть прямодушным, не тот момент, когда можно не знать числа врагов или чуждаться друзей. Со смерти Тиберия императоры сменяли друг друга с ужасающей быстротой. Правда, Нерон умер от своей собственной руки, стараясь избежать справедливого возмездия за свои неслыханные преступления и пороки. Но его предшественник был устранен отравленными грибами, а наследовавший ему старик пал под ударами мечей гвардии, учрежденной им для того, чтобы отвратить насилие от своей поседевшей головы. Затем новый самоубийца передал порфиру Вителлию. Трон цезарей быстро сделался синонимом эшафота, и над царственной диадемой грозно дрожал дамоклов меч на такой тонкой нити, как никогда ранее.

Когда грозные политические конвульсии терзают государство, еще ранее дошедшее, так сказать, до степени кипения вследствие порока и всеобщего растрления, тогда, по естественному закону, наверх всплывают нравственные подонки. Людям самым беспринципным, готовым всецело повиноваться своим инстинктам грабежа и наживы, удается достигнуть некоторой невысокой славы, некоторого сомнительного и непрочного успеха. В царствование Нерона, быть может, было только одно средство добиться расположения двора: нужно было только постараться сравняться с императором в жестокости и пороках. Дворец цезаря сделался тогда пристанищем беззакония и полной разнузданности. Сикофант, который по своей грубой чувственности весьма легко мог стать на один уровень с животным, открыто проявлявший свою утонченную дьявольскую жестокость и растрление недужного сердца, на одно мгновение становился первым фаворитом своего владыки. Чтобы сделаться другом и советником цезаря, нужно было только быть непристойным, наглым, ничтожеством, человеком обжорливым и изнеженным, иметь увенчанный розами лоб, омраченный вином мозг и обогранные кровью руки. Изумленный народ в тупом ужасе чего-то ждал, смотря на то, как чудовище от одного бесчинства переходит к какому-либо новому ужасному празднику, готовит какие-нибудь замысловатые, многосложные пытки, какие только может вынести существо человеческое, или новый адский опыт, какой только может выстрадать тело, прежде чем душа улетит из своей темницы. И все это совершалось не над одной, но над тысячью жертв! Народ ждал, дивился и спрашивал себя, что же делают боги, видя, как божественное мщение спит перед лицом таких злодеяний.

Но день возмездия наконец наступил. То сердце, которое не мог смягчить призрак умерщвленной матери, не мог растрогать жребий беременной жены, убитой ударом ноги бесчеловечного супруга, это сердце ослабело, когда почувствовало приближение нескольких отчаянных солдат, и тиран, столь часто со смехом смотревший на текущую в амфитеатре, как воду – кровь, умер от своей собственной руки, умер так, как жил, убийцей и трусом до конца.

И с этой поры двор сделался местом, где всякий смелый и потерявший совесть человек мог быть уверен в успехе. Теперь на императорском троне сидел сибарит и обжора, когда-то сильные способности которого были притуплены и разрушены излишествами. Тело его опухло, глаза помутнели, силы были парализованы, и мужество исчезло под теми же влияниями. Дельный государственный муж, лукавый царедворец и счастливый воин поглощен был теперь только одной страстью, имел только одну цель, в которой сосредоточивалась вся его нравственная и физическая энергия, – он хотел только чудовищно есть, безмерно пить и допытываться, какими средствами может быть возбужден и раздражен пресыщенный аппетит, чтобы можно было есть и пить снова.

При таком властелине всякий человек, который помимо склонности к застольным наслаждениям обладал и хорошо развитым мозгом, хладнокровием и деловитостью, мог быть уверенным в достижении значительного влияния. Император высоко ценил того, кто освобождал его от хлопот о делах, кто собственным примером подзадоривал владыку к его грубым наклонностям. Немалую услугу Вителлию делал тот, кто мог покинуть оргию и отдать необходимое

распоряжение по случаю непредвиденного затруднения, которое усыпленный рассудок цезаря не мог ни понять, ни разрешить.

Плацид не пробыл еще и месяца при дворе, как ему уже удалось заслужить императорское благоволение.

Необыкновенна была история этого человека. Патриций по происхождению, он воспользовался влиянием своей фамилии для получения военных степеней и еще в молодости достиг звания трибуна в Веспасиановой армии, занимавшей в то время Иудею. Никто не отдавался более полно и всецело наслаждениям азиатской жизни, чем Плацид, но при этом он обладал и многими достоинствами, необходимыми для солдата. Личная отвага или, вернее, беззаботность в отношении опасности являлась одним из замечательных его достоинств. Быть может, это достоинство составляет отличительную черту подобных ему людей, которые, обладая величайшей энергией и жизненностью, в то же время отличаются необычайным хладнокровием и самообладанием. Никогда трибун не представлял такого прекрасного зрелища, как тогда, когда все вокруг него было в тревоге и замешательстве. Однажды, при осаде Иотапаты, когда иудеи защищались с отчаянной энергией, отличающей этот отверженный народ, Плацид обратил на себя внимание Веспасиана хладнокровием и находчивостью, благодаря которым ему удалось спасти от смерти целый отряд солдат с их центурионом на глазах самого полководца.

Манипула, или, выражаясь современным военным языком, крыло когорты, находившейся в ведении Плацида, бежала на приступ, и первый центурион, в сопровождении вверенного ему отряда, был уже на стене, покрытой защищающимися. На осаждающих летели со стен стрелы, дротики, огромные камни, орудия, всевозможные снаряды и даже расплавленный свинец и кипящее масло. Прикрытый подвижным навесом, вождь колонны подвел свой таран к самой стене, а сзади, при помощи канатов и блоков, надвигалась огромная машина. Между тем иудеи, воспользовавшись моментом, успели привести в движение колоссальную глыбу гранита прямо над навесом и теми людьми и наступательными орудиями, которых он защищал. Еврейский воин в блестящих латах, держа одной рукой рычаг, приспособлял его к колеблющейся громаде. Еще мгновение, и она обрушилась бы на головы осаждающих и похоронила бы весь отряд под своей огромной тяжестью. Со своего места, отмеченного орлом, трибун наблюдал за движением этих людей с тем вялым видом, какой у него был обыкновенно. Даже в этот критический момент лицо его не изменилось и голос, каким он передал стоявшему направо трубачу приказ трубить отбой, оставался спокойным и совершенно ровным. И хотя он вырвал лук у парфянского союзника, который лежал мертвым у его ног, с такой быстротой, какая почти недоступна самому искусному стрелку, однако в его движении не видно было никакой торопливости. Он уставил стрелу на тетиву, и в мгновение ока, когда гранит еще колебался на самом краю укрепления, стрела уже дрожала в промежутке между латами воина, вооруженного рычагом, и опасный враг лежал на стене в предсмертных судорогах. Прежде чем другой защитник мог занять его место, осаждающие отступили назад, увлекая с собой таран и прикрывавший его навес, а трибун, возвращая лук в руку убитого парфянина, спокойно проговорил:

– Одна спасенная рота стоит сотни наемников... Варвар, по крайней мере, самый главный из моих центурионов и храбрейший солдат в моей манипуле!

Веспасиан не способен был забыть подобный пример хладнокровия, и Юлий Плацид с этого дня был предназначен к повышению.

Вместе с отвагой трибун был одарен ловкостью тигра; отчасти он обладал даже красотой этого животного, и в нем было много черт, свойственных кровожадной природе последнего. Доблестный солдат считал бы унижением при каких бы то ни было обстоятельствах играть двойственную роль, но Плацид смотрел на всякое дело, способствовавшее его возвышению, как на почтенное. Этот счастливый игрок бесстыдно обманывал всех в Риме той горячностью, с какой он играл роль человека преданного наслаждениям, тогда как сам не упускал ни малейшего случая снискать расположение многих беспокойных умов. А в царственном городе было

так много этих людей, вполне готовых сделаться его сторонниками, лишь бы добиться анархии и беспорядков. Погружаясь с головой в сумасбродства и наслаждения развратного двора, соперничая с цезарем в расточительности и превосходя его в оргиях, он не допускал ничего такого, что могло бы выдать его честолюбивое стремление, более серьезное, чем стремление выделяться в каких-нибудь пустяках, и могло бы возбудить подозрения в том, что он не только думает о пирах, роскоши и модных сумасбродствах, но и таит гораздо более глубокие намерения. Между тем, в этом сильном уме слагались планы и скрывались мысли настолько пылкие, что от них могли бы завянуть розы, украшавшие его чело.

Может быть, капля греческой крови, текшей в его жилах, присоединяла в нем к отваге и терпению римлянина ту изворотливость, какая свойственна заговорщику и интригану. Это происхождение сказывалось в его словно выточенных чертах лица и во всем телосложении. В его характере, как говорилось, было сходство с тигром, и в движениях видна была гибкая грация этого животного. Он был немного выше ростом, чем его соотечественники, но все его тело отличалось удивительной пропорциональностью, говорило о силе, соединенной с ловкостью и выносливостью. Если бы он был захвачен, как Милон, он выпутался бы из своего критического положения с гибкостью змеи. Что-то напоминающее гада было в его маленьких сверкающих глазах и в перламутровой белизне кожи. Всякая женщина, достойная этого имени, с отвращением и презрением отвернулась бы от этого взгляда, сколь бы он ни был блестящ. Несмотря на всю его красоту, ни один ребенок не осмелился бы с доверчивостью смотреть ему в лицо. Правда, мужчины мимоходом оглядывались на него, но гладкий лоб и злобный, отталкивающий взгляд не могли вызвать их симпатии. Люди же трусливые и суеверные испытывали при виде его дрожь, отступали назад и отворачивались от него, боясь дурного глаза.

И однако, в своей ослепительно-белой тунике, в ожерельях из золотых звеньев, в поясе, украшенном драгоценными камнями, в вышитых сандалиях, в темно-фиолетовом, почти пурпуровом плаще с широкими складками Юлий Плацид не был недостойным представителем своей эпохи и своего сословия и мог служить верным образцом богатого и сумасбродного римлянина.

Таков был человек, стоявший в своей повозке у дверей Валерии и скрывавший под маской беспечности сильное нетерпение узнать новости от своей повелительницы.

Глава III

Гермес

В первый век империи римская аристократия горячо увлекалась культом Меркурия, бога изобретательности и плутовства. Это объяснялось не тем, что свойства, вообще приписываемые этому богу, наиболее способны были вызвать уважение и поклонение, но просто той случайной популярностью, какую он приобрел в эту эпоху, когда художественный пантеизм нации управлял общественным мнением и когда даже боги входили в моду и выходили из моды, как платье.

Под портиком Валерии, как и во многих других богатых домах, стояла превосходная статуя Меркурия. Он был представлен в виде юноши с грациозно-соразмерными атлетическими членами, несущегося на одной окрыленной ноге, в широкополой шапочке на голове и с кадудцеом³ в руке. На лице статуи были написаны ум и энергия, и вся она казалась воплощением идеала деятельности и силы. Она была установлена на четырехугольном мраморном пьедестале, прямо напротив дверей. Раб в смущении скрылся за этим пьедесталом в ту минуту, когда внутри дома показалась толпа девушек, появившихся в ответ на оклик Юлия Плацида, все еще находившегося в своей повозке.

Трибун не счел нужным слезать. Он вынул из-за пазухи ящичек с инкрустацией из драгоценных камешков, оперся одной рукой на плечо Автомедона, а другой передал свой подарок той из девушек, которая казалась главной между другими и манеры которой обличали служанку, набрасывая в то же время свою золотую цепочку на шею девушки и лениво нагибаясь, чтобы заплатить лаской за свой подарок.

– Передай ей наилучшие пожелания от самого преданного из ее слуг и узнай, в каком часу я могу надеяться на прием по случаю ее рождения. Безделушка, какую ты отнесешь ей, убедит ее, что я о ней не забыл.

Служанка приложила все усилия к тому, чтобы покраснеть, но безуспешно: румянец не показался на ее южном, смуглом лице. Решив примириться с этим, она прямо посмотрела на него своими большими черными и дерзкими глазами и отвечала:

– Несомненно, ты забыл, что сегодня праздник Изиды и что никакая знатная дама в Риме – а уж по крайней мере есть одна такая – не может терять времени на размышления о чем-либо другом, кроме священных мистерий богини.

Плацид захохотал. Странно было наблюдать действие, какое производил этот смех на слушающих. Автомедон слегка побледнел, и даже девушка на минуту показалась оробевшей.

– Слышал я разговоры про эти мистерии, красавица Миррина, – сказал он. – Кто про них не слышал? Римские дамы прячутся от всех взоров, и для нас во всех отношениях великолепно, что они так делают. Но как бы то ни было, солнце еще постоит на небе несколько часов, прежде чем можно будет приступить к совершению целомудренных обрядов Египта. Не примет ли меня Валерия тем временем?

Только очень опытное ухо могло заметить легкую дрожь в голосе трибуна во время произнесения этих последних слов. Видимо, от Миррины не ускользнуло это волнение, так как она обнажила свои белые зубы и очень бегло стала перечислять различные занятия, какие должны были заполнить день дамы высшего римского общества.

³ *Кадудцей* – жезл, оканчивающийся двумя крыльями и переплетенный двумя змеями. Один из атрибутов Меркурия и символ мира. По мифологическому рассказу, Меркурий, встретивший двух борющихся змей, кинул между ними свой жезл и положил конец их ссоре.

– Невозможно! – воскликнула она. – У нее нет свободной минуты до самого заката. Ей надо отобедать⁴, взять урок фехтованья, выкупаться и одеться. Затем должен прийти скульптор, ваяющий ее руку, художник, пишущий ее портрет, и, кроме того, ей еще должны принести новые греческие сандалии. Потом она послала за прорицателем Филогемоном, который займется ее гороскопом, и за Галантисом, более искусным, чем сама Локуста⁵ и имеющим вдвое больше практики. Он должен приготовить ей любовное снадобье. Это уж, пожалуй, не по твоему ли адресу? – прибавила служанка лукавым тоном. – Я слыхала, будто теперь все матроны прибегают к этому.

Недобрая усмешка снова скользнула по лицу трибуна. Быть может, он сам пользовался снадобьями Галантиса с целью содействовать своей любви или ненависти, и напоминания об этом были ему не по душе.

– Ну, – сказал он, – она в этом не нуждается. Один взгляд прекрасных глаз Валерии могущественнее всех снадобий и напитков Галантиса, взятых вместе. Слушай, Миррина, ты на моей стороне. Скажите мне, благосклоннее ли она смотрит на меня теперь, чем прежде?

– Почему же мне знать? – отвечала служанка с выражением веселья и шутивого недоверия. – Впрочем, моя госпожа – женщина, а говорят, что всякую женщину легче укротить силой, чем смягчить позолоченными словами. Только уж ее-то не увлечет нежное личико и сладкие речи. Я слыхала, как эти самые слова она говорила Парису на том самом месте, где мы теперь стоим. Клянусь Юноной! Я могу тебя уверить, что этот актер ушел, поубавив спеси, когда она сказала ему, что он просто-напросто девчонка, одевшая платье своего брата. Нет! Человек, который одержит победу над моей госпожой, будет мужчиной с головы до ног, я в этом уверена. Да, впрочем, в этом отношении она походит на всех женщин вообще.

Миррина вздохнула, быть может подумав о каком-нибудь юноше, загоревшем на солнце, грубоватая, но искренняя любовь которого льстила ей в детстве, до ее переезда в Рим, вдали от столицы, среди краснеющих виноградников, на холмах Кампании.

– Ты так думаешь? – спросил трибун, видимо польщенный только что услышанным комплиментом, так как в душе он гордился своей физической силой. – Вот, Миррина, когда я подъезжал сюда, я видал тут молодца, который легко одержал бы над тобой победу, если бы нужно было, чтобы любовник, по обычаю твоих предков – сабинян, утащил тебя, желая на тебе жениться. Клянусь Геркулесом! Он так же легко поднял бы тебя своей рукой, как ты поднимаешь этот ящичек. Да не бойся, он не выскочит!.. Э, да я вижу, он прячется за Гермесом. Выходи-ка, приятель! Чего тут! Ты не испугался Автомедона; не боишься, я думаю, и хлопанья хлыста этого молодого бездельника?

При этих словах раб вышел из своего убежища, где его заметил Плацид, и почтительно протянул Миррине подарок своего господина – резную серебряную корзинку, наполненную плодами и лучшими цветами.

– Поздравление от Кая Лициния, – сказал он, – с днем рождения Валерии. На этих цветах еще лежит роса, которую посылает блестящий Анион на свои берега. Эти плоды еще вчера блестели под лучами солнца на холмах, у подножия которых струится Тибр. Мой господин предлагает самые свежие цветы и прекраснейшие плоды своей родственнице, которая свежее и прекраснее их.

Он произнес это поздравление, очевидно выученное наизусть, на довольно чистом и гладком латинском языке, с почти незаметным иностранным акцентом и, низко наклонившись в момент передачи корзинки Миррине, выпрямил свой стройный стан и бросил гордый, почти вызывающий взгляд на трибуна.

⁴ Завтрак у римлян совершался около 12 часов и состоял из хлеба, рыбы и жареного холодного мяса.

⁵ *Локуста* – знаменитая составительница ядов в Риме при Гальбе и Нероне, доставившая, между прочим, последнему яд для отравления молодого Британника. Благоволивший к ней Нерон поместил ее в своем дворце на жалованье и хотел, чтобы она подготовила себе преемников, но впоследствии приказал умертвить ее.

Девушка вздрогнула и побледнела. Ей показалось, что статуя Гермеса сошла со своего пьедестала, чтобы оказать ей почтение. А он стоял, величественный в своей силе и грации, в блеске юности, здоровья и красоты, как воплощение бога. Верная своему полу, Миррина легко поддавалась влиянию счастливой наружности, и, испытывая легкую дрожь, она засмеялась нервным смехом, принимая из рук красавца-раба предназначенный ее госпоже подарок.

– Не войдешь ли ты в дом? – спросила она, на этот раз краснея без всяких усилий. – Не в обычае покидать дом Валерии, не вкусив хлеба и не выпив вина.

Раб резко, почти грубо отказался, но, как это ни странно, он не потерял, однако же, через это ни малейшей доли приобретенного у Миррины благоволения. Он с нетерпением хотел покинуть портик, так как окружавшая его атмосфера роскоши словно угнетала его чувства и тяготила его. Помимо этого, нанесенное Автомедоном оскорбление все еще заставляло сильно биться его сердце. Как бы хотелось ему, чтобы подросток был мужчиной, более подходящим к его росту и силе! Он стащил бы его с повозки, где тот сидел, заносчиво наматывая кудри на свои тонкие пальцы, повалил бы его на землю и показал бы ему, как сильна бретонская рука и бретонское объятие!

«По слуге и господин!» – думал раб, уже почувствовавший к Плациду то непреодолимое отвращение, какое является в человеке, чувствующем своего будущего врага. Говоря правду, трибун всего чаще подмечал это чувство в отважных и честных натурах.

В тот момент, когда раб удалялся, Плацид снова смерил его тем презрительным взглядом, который отмечает всех привыкших судить о людях, как о животных. У Плацида была та особенность, что на всех встречающихся ему людей он смотрел, как на орудия, которыми ему, может быть, придется воспользоваться в неопределенном будущем. Если случайно он встречал выдающуюся храбрость в солдате, особенную дальновидность в отпущеннике или даже выходящую из ряда красоту в женщине, он думал про себя, что если теперь ему и не приходится воспользоваться этими качествами, то позднее может представиться случай обратить их в свою пользу. С такой целью он отмечал их в уме и был уверен в их полезности. В настоящем случае он немного удивился тому, как это до сих пор ему еще не пришлось заметить гигантского роста раба во время своих посещений Лициния, благодаря расположению которого бретонец был освобожден от всякой унижительной службы, а следовательно, и от непосредственного соприкосновения с его гостями. Во всяком случае, он твердо решил не терять из виду человека, так прекрасно устроенного природой для того, чтобы выдвинуться вперед в гимназии или амфитеатре. И в его душе возникло чувство жестокого удовлетворения при мысли, что, быть может, ему придется увидеть этого человека, обладающего таким крепким телосложением, в судорогах смертного боя или в конвульсиях мучительной агонии.

Помимо всего, в душе этого надменного патриция, так небрежно опершегося на подушки своей повозки, несмотря на все преимущества, какие дает положение, слава, богатство и влияние, шевелилась зависть к этому рабу, – зависть к его благородной скромности, физической красоте и мужественной, независимой осанке.

– Если бы, Автомедон, он до тебя дотронулся, – сказал господин, не в силах отказаться от удовольствия подразнить рассерженного юношу, державшего вожжи, – если бы он только прикоснулся к тебе пальцем, так ты не пикнул бы ни слова и я освободился бы от самого неугомонного и бесполезного из моих слуг. Ну, смотри хорошенько за этой лошадей или ты не видишь, что она запуталась в вожжах? Держи, говорю тебе, и вези меня на форум!⁶

Когда он, развалившись на своих подушках, быстро исчез из виду, Миррина снова оказалась под портиком. Казалось, вовсе не видя удаляющейся повозки, она мечтательно посмотре-

⁶ Форум – главное общественное место в Риме, расположенное почти в середине города, между Квириналом и Капитолийским холмом, где происходили народные собрания. Различались еще другие, менее замечательные места: – *Forum boarium* – рынок быков. *Forum piscarium* – рыбный рынок и др.

лась кругом, затем кивнула головой, вошла в дом и, хотя по ее лицу скользнула улыбка, однако из уст ее вылетел какой-то звук, похожий на вздох.

Глава IV Афродита

Маленький негр, безобразнейший представитель своей расы, и, без сомнения, именно поэтому очень дорого стоивший, в утомлении стоял то на одном, то на другом колене в принужденной позе, показывавшей, насколько неприятна и скучна была ему его роль и как томительно казалось ему находиться в собственных покоях Валерии. Для ребенка его лет – а он выглядел именно самым нежным ребенком – не было неприличным быть посвященным в тайны женского туалета, а между тем выполняемая им обязанность являлась самым необходимым элементом всего дела. С искусством и стойкостью, удивительными для его лет, хотя и гримасничая, он поддерживал огромное зеркало, в котором его госпожа могла полностью созерцать все свои ослепительные прелести. Зеркало было сделано из широкой серебряной доски, отполированной до блеска и ясной, как кристалл, и окружено овальной золотой рамкой, с дорогой чеканкой, фантастическими рисунками и инкрустациями из изумрудов и других драгоценных камней. Ни одного пятнышка не видно было на его сверкающей поверхности. Специально представленная служанка предохраняла зеркало от малейшего дуновения, которое могло бы затемнить его блеск и помрачить величественный образ того, кто сидел в настоящую минуту перед ним и выносил от рук служанок приятные пытки искусного туалета.

В зеркале отражалась высокая женщина, в расцвете своей красоты, каждое движение и каждый жест которой выдавал сильную натуру, имеющую отличное здоровье. Белая и полная шея придавала грацию и достоинство ее осанке; в широкой груди и, пожалуй, чересчур развитых плечах сказывалось больше величия Юноны, чем легкой грации Гебы. Вполне развившаяся и оформившаяся талия говорила об ее совершенной зрелости, а округлые и полные члены и удивительно красивые руки и ноги сделали бы честь Диане, до такой степени совершенна была их грация. Свежему цвету лица, сладострастной позе и томности всей ее фигуры могла бы позавидовать даже богиня, которая в золотые летние ночи, стоя на вершине горы, сторожит Эндимиона и проливает на своего спящего любимца потоки света и любви.

Строгий критик мог бы найти, что в формах Валерии обнаруживалось больше физической силы, чем позволяет совершенная женская красота, что ее мускулы были слишком рельефны и что во всей ее фигуре, несмотря на округленность линий, проглядывало что-то мужское, сказывалось слишком много мужественной силы. Может быть, тот же недостаток он нашел бы и в самом выражении ее лица. Как будто слишком много решимости было в ее небольшом орлином носе, слишком много смелости и мужественной энергии в большом, хотя и красиво очерченном рте, усеянном большими белыми зубами, которых не скрывали плотно ее полные, ярко-красные губы. И в низком, широком лбе, ровном и белом, но несколько выдающемся вперед, он увидел бы тень свойственной мужчине суровости, которую отчасти смягчали удивительно очерченные дугообразные брови и длинные шелковые ресницы, прикрывавшие ее большие, смеющиеся глаза.

Это было одно из тех лиц, на какие мужчина, а тем более ребенок, не может смотреть без предчувствия того, что в его душе скоро возникнет пылкое желание сделаться предметом ее взглядов, улыбок, одобрения и любви. Прозрачная кожа дышала здоровьем, розовые щеки отличались удивительной свежестью – показателем крайней жизненности. Серые, блестящие глаза прекрасно гармонировали с ее улыбкой, сиявшей ярким и холодным блеском, когда ее серьезное, презрительное, почти суровое лицо принимало свойственное ему выражение. Наконец, женственно-нежная масса полутемных густых волос, ниспадавших на ее шею и плечи, восхитительно обрамляла этот милый, опасный и увлекательный образ.

Помещение Валерии далеко не было недостойным той благородной красоты, таинственные обряды одевания которой совершались в нем. Здесь можно было найти все, что только

измышлено было роскошью для неги тела, все, что только открыла наука для сохранения или создания женских чар и притом в самой дорогой и изящной форме. В углу, прикрытом прозрачными занавесями самого нежного розового цвета, стояла ванна, которую можно было произвольно нагревать до желаемой температуры и в которую очаровательная хозяйка дома обыкновенно спускалась по мраморным ступенькам дважды или трижды в день. В другом углу находилась кровать из слоновой кости, убранная драпировками из стеганого ярко-красного шелка и утвержденная на массивных резных колонках из золота. На ней-то почивала Валерия, отдаваясь сновидениям, посещающим ложе тех, чья жизнь есть цепь роскошных наслаждений. На столе из кедрового дерева, имеющем форму пальмового листа и поддерживаемом одной ножкой с причудливым рисунком, горела ночная лампочка, издавая запах благовонного масла. Рядом с ней лежали восковые дощечки, на которых Валерия писала свой дневник или приглашительные записки. *Стиль*⁷ уже откатился от них и лежал на лоснящемся паркете, как будто она не успела окончить своего дела. Благодаря своим многочисленным дверям, бесчисленным покоям, тенистым и освежающим уголкам, высоким плафонам и мозаичному паркету этот дом был достоин названия дворца. Повсюду в явном беспорядке и в изобилии были расставлены лучшие вазы, чеканные кубки, чаши из гладкого золота и прелестные статуэтки. Из рта мраморного купидона в резервуар падала вода. Два таких же крылатых ребенка, представлявшие прелестную бронзовую группу, поддерживали жертвенник, на котором была расставлена роскошная коллекция благовонных эссенций и притираний.

Стены этого очаровательного хранилища были окрашены в нежный розовый цвет, отбрасывавший прелестный отблеск на его обитателей. Через правильные промежутки этот цвет скрывался под овальными гирляндами-барельефами, вылепленными на самой стене и служившими рамкой для различных мифологических сюжетов, среди которых преобладало изображение Венеры, богини любви и веселья. Параллельно карнизам тянулся барельеф, представляющий баснословную борьбу амазонок со всевозможными чудовищами; среди них наиболее бросался в глаза знаменитый гриф – чудовищное животное с головой и шеей хищной птицы.

Любопытно было замечать в этих воительницах, представленных на барельефе, некоторые черты той властной красоты, энергичной грации и надменной осанки, какие отличали и саму Валерию. Впрочем, их мужественные, полные отваги позы представляли в то же время резкий контраст с изящной томностью, отличавшей каждое движение знатной матроны, возлежавшей перед зеркалом и лениво подчинявшейся заботливым услугам своих служанок.

Эти пять служанок были главными рабынями дома. Самую старшую из них можно было принять за матрону. Она была высока ростом, много старше своих подруг и выполняла обязанности экономки, что, однако же, не избавляло ее от оскорблений и даже ударов, если ей случалось замешкаться с исполнением требований хозяйки. Остальные были красивые, веселые девушки, с блестящими глазами и белыми зубами.

Главный труд их состоял в наблюдении за различными предметами туалета матроны, и в этом ежедневном занятии они находили невыразимое, чисто женское удовольствие, несмотря даже на жестокость и суровость, с какой их наказывали за малейшую небрежность. Среди этих последних Миррина, очевидно, была любимицей. Ей принадлежала честь приносить нагретое белье госпоже для ванны, подавать ей туфли, когда она выходила из ванны, и надевать каждое платье, когда это было нужно. Госпожа неизменно сообразовывалась со вкусом Миррины и считала ее мнение решающим в важных вопросах о том, куда нужно прицепить драгоценную безделушку, где небрежно оставить прядь волос и как лучше расположить складки платья.

При своей наружности итальянки, эта девушка обладала изворотливостью и мягкостью греческого характера. Рабыня, родившаяся во владениях Валерии, воспитанная, как деревен-

⁷ *Стиль* – stylus, железный грифель с широким и плоским концом вверху и острием внизу употреблявшийся у римлян для писания по навошенным дощечкам.

ская девушка, и с детства привыкшая к полевым занятиям, она, по прихоти своей госпожи, была привезена в Рим. С чисто женским непостоянством, с тем равнодушием, с каким иногда женщины без всякого удивления переходят к образу жизни, совершенно отличному от прежнего, молодая крестьянка не прожила еще и года в новом положении, как уже сделалась самой искусной и ловкой служанкой в столице. Излишне и говорить о том, как это отозвалось на ее нравственности и добром поведении. Никто не умел лучше Миррины изготавливать благовония и притирания, изглаживавшие неблагоприятные влияния климата и следы излишеств. Нигде нельзя было найти более искусную портниху, женщину, более сведущую в сочетании цветов, никто не мог бы тайком передать письмо или поручение так ловко, просто и тактично. Словом, это была женщина, готовая всегда, во всех затруднительных обстоятельствах действовать и щеткой, и завивальными щипцами, и иглой, и рукой, и глазами, и языком. Интрига была ее стихией. Лгать в интересах своей госпожи ей казалось столь же естественным, как лгать ради себя самой. Всякий, кто хотел бы приобрести благоволение Валерии, должен был сначала склонить на свою сторону ее служанку, и не один вздыхающий по ней римлянин узнал, к своему убытку, что этот путь к успеху был столь же утомителен, сколько дорог и часто приводил к пренебрежению и немилости.

Когда Миррина взяла из рук другой служанки коробочку с благовониями и приготовилась посыпать золотистой пылью волосы Валерии, ее взоры упали на подарок Пластида, в пренебрежении лежавший на полу. Ящичек раскрылся, и драгоценности рассыпались там и сям. Как ни удивительно, но у служанки еще была совесть, и эта совесть подсказывала ей, что она не совсем заслужила прекрасную цепочку, наброшенную трибуном на ее шею.

Обдавая голову госпожи золотистой пылью, Миррина осторожно попробовала попытаться почв.

– Как только станет попрохладнее, – сказала она, – в моду войдет новая прическа. Я знаю это из верного источника: слышала, как это говорила Селина, узнавшая эту новость от первой служанки императрицы. Хотя сам цезарь не очень-то жалуется Галерию, но если этот желтый султан будет принят, то, наверное, он войдет в моду. Меня это разозлило, когда я узнала, да и не одну меня.

– Почему же это? – томно спросила Валерия. – Разве эта прическа будет стеснительнее той, которую носят нынче?

Золотистая пыль была рассыпана, и Миррина, держа зубами гребень, намотала на свою кисть локоны госпожи, стараясь осторожно подвести под них изумительной работы ленту. Хотя в этом положении ей и неудобно было говорить, однако она очень бегло отвечала:

– С такими волосами, как твои, госпожа, нет никакого стеснения. Это наслаждение расправлять их руками, приглаживать, завивать или свивать в диадему, достойную царицы. Нет, дело в том, что эта новая мода делает одинаковыми всех нас, хоть бы мы были плешивы, как старуха Лиция, или имели такие же длинные волосы, как у Нееры. А все-таки для того, чтобы подделать волосы, подобные твоим, как еще сегодня утром сказал господин...

– Сегодня утром!.. Какой господин? – прервала Валерия, и, казалось, интерес пробудился в прекрасных чертах ее лица. – Ты говоришь о Лицинии, моем благородном родственнике. Его одобрение в большой цене.

– Его одобрение дороже его подарков, – живо отвечала Миррина, показывая в то же время на резную корзинку, занявшую почетное место на туалете. – Я никогда не видывала подобного подарка по случаю дня рождения! Какие-то запоздалые розы да смоквы – и это для одной из самых богатых римских матрон! Но, правду сказать, его посол, принесший их, должно быть, придется потомком Юпитеру, потому что это самый красивый мужчина, каких только я видела во всю свою жизнь.

Миррина слегка наклонилась, чтобы госпожа не заметила краски, покрывшей ее беззащитный лоб при воспоминании о том впечатлении, какое на нее произвел прекрасный невольник.

Валерия питала слабость к крупным мужчинам с изящной выправкой. Она как бы стряхнула немного свою лень, отбросила волосы назад и, видя, что Миррина, несмотря на свое желание, не решается продолжать разговор об этом приятном предмете, сказала:

– Продолжай.

Служанка мысленно оценила цепочку, украшавшую ее шею, и сообразила, что она обязана сделать за нее.

– Я хотела сказать тебе, госпожа, о трибуне Юлии Плациде. Это он говорил о твоих волосах, что каждая прядь их для него драгоценнее мины золота. Ах, какой он изящный мужчина! Во всем Риме нет ни одного патриция, который бы сравнился с ним. О, если б ты видела его сегодня утром, как он в своем фиолетовом плаще, с блестящими на солнце драгоценностями, сидел в роскошной повозке, запряженной в четверку лошадей самого белого цвета во всем городе. Ну, уж если б я была благородной женщиной, да если б за мной ухаживал такой мужчина...

– Ты говоришь, мужчина? – прервала ее госпожа с презрительной усмешкой. – Право, если называть мужчинами этих завитых, надушенных и гладко выбритых людей, то нам, женщинам, надо бы возмутиться, если мы не хотим видеть, как гибнет отвага и сила в Риме! Как это ты, Миррина, знающая Лициния и Гиппия и еще вчера видевшая двести гладиаторов в цирке, не научилась быть лучшим судьей. Мужчина!.. Тогда ты назовешь этим именем и ту девчонку, которую зовут Парисом...

Госпожа и служанка обе расхохотались, так как при этом имени они вспомнили историю, льстившую самолюбию Валерии. Парис, молодой египтянин, очаровательной женственной наружности, недавно прибыл в Италию с целью фигурировать, и не безуспешно, на римской сцене. Его нежные черты, удивительная стройность и чисто женственная грация нанесли тяжкие раны сердцам римлянок, всегда очень чутким к прелестям актеров. Парис нимало не потерял в общественном расположении от того, что носил имя несчастного любимца Нерона, и с первых же шагов, без всяких колебаний вступил на тот же блестящий, хотя и опасный путь. Впрочем, несмотря на то что считалось хорошим тоном быть влюбленной в Париса, Валерия одна только не следовала моде и относилась к нему с тем полнейшим безразличием, какое она чувствовала ко всем развлечениям, не доставлявшим ей удовольствия.

Задетый заживо этой холодностью, раздосадованный актер начал усиленно добиваться расположения пренебрегавшей им женщины, и после бесчисленных поражений ему удалось получить согласие на свидание в собственных чертогах Валерии. Он имел неосторожность заранее похвалиться этим результатом, и Миррина, ничего не упуская из виду, конечно, не замедлила предупредить свою госпожу о том, что ее снисходительность была столько же дурно истолкована, сколько и некстати оказана. Ввиду этого обе женщины составили свой план, и, когда роскошно разодетый Парис в сильном волнении пришел на обещанное свидание, его вдруг схватили шесть старых, отвратительных негрятенок, осыпали ласками, раздели донага и обращались с ним так, как будто он был нежным младенцем, спокойно распоряжаясь им по своему произволу, которому он тщетно пытался противиться. Те же черные рабыни одели его в женскую одежду и, без сострадания к его усилиям, крикам и мольбам, посадили его на носилки Валерии и отнесли в них до самых его дверей.

Вспыльчивый ум актера дал этой метаморфозе самое неблагоприятное объяснение, какое только можно было придумать для той, кто был ее виновницей, и, вероятно, дал себе слово отомстить ей.

– Парис, без всякого сомнения, слишком хорошо знает, что ты о нем думаешь, – промолвила Миррина, – и пусть он красив лицом и прекрасно танцует, но уж понятно, Плацид кра-

сивее. Ах, госпожа, если бы ты видела его сегодняшним утром, как он грациозно возлежал в своей повозке да поддразнивал злосчастного подростка, ударившего своим хлыстом высокого раба, который, кстати сказать, исчез, как молния... Право, ты могла бы подумать, что в Риме нет других патрициев...

– Ну, будет толковать о Плациде, – нетерпеливо перебила госпожа, – это мне надоело. Но о каком же рабе ты говоришь, Миррина, и кто это такой привлек твое внимание? Что же, он из тех варваров, которыми так хвастает мой родственник Лициний? Как по-твоему, он достаточно красив, чтобы следовать за моими либурийцами, когда они несут мою лектику?

Глаза служанки заблестели при мысли о возможности видеть красавца-раба в одном доме с собой, и чувство смущения, испытываемое ею при изображении физических достоинств, пленивших ее воображение, рассеялось при этой увлекательной мысли.

– Красив ли он, госпожа? – воскликнула она, выронив гребень изо рта и распустив волосы госпожи. Затем, сжав обе руки, с чисто итальянской живостью и увлечением она продолжала: – Он настолько красив, что либурийцы в сравнении с ним все равно что облезлые коршуны в сравнении с царственным орлом. Без сомнения, он варвар, кимвр, фрисландец или кто-нибудь в этом роде, так как я заметила чужестранный акцент в его речи, да притом в Риме немного людей такого высокого роста. Его шея совсем как мраморная башня, руки и плечи словно у статуи Геркулеса, что в нашей колоннаде. Лицо у него вдвое прекраснее лица Перикла в твоём медальоне, и золотые волосы обрамляют лоб, белый как молоко. Глаза у него...

Миррина остановилась, может быть подыскивая сравнение, может быть переводя дух.

– Продолжай, – сказала Валерия, слушавшая ее в ленивой, но вместе с тем внимательной позе, с зажмуренными глазами, полуоткрытыми губами и загоревшимися щеками. – Говори же, Миррина, на что похожи его глаза?

– Они напомнили мне голубое небо Кампании в пору сбора винограда. У них такой же блеск, как у тех драгоценных камней, что украшают застежку твоего придворного платья. Они похожи на море, если смотреть на него в полдень с высоты стен Остии. И между тем они метали искры, когда уставились на беднягу Автомедона. Вот диковинка для меня, что этот подросток его не испугался! Я уверена, что он перепугался бы, если бы только что-либо могло устроить этих бесстыжих кучеров.

– Так, по-твоему, Миррина, он из рабов моего родственника? Уверена ли ты в этом? – спросила госпожа с деланным равнодушием, по-прежнему оставаясь неподвижной в своей удобной позе.

– Я в этом уверена, – отвечала служанка.

Без сомнения, она продолжала бы разговор об этом интересном предмете, если б ее не прервал приход рабыни, сообщившей, что старый гладиатор Гиппий дожидается ответа, угодно ли Валерии взять обычный урок фехтования.

Но Валерия отослала его и осталась перед своим зеркалом, не желая расстаться с тем очаровательным образом, который отражался в нем. Бог знает, о чем она думала, но, должно быть, ее мысли были увлекательны до такой степени, что казалось, ей было страшно, как бы кто-нибудь ее не побеспокоил.

Глава V

Рим

Между тем раб-бретонец, не подозревая, что он уже сделался предметом интереса Валерии и очарования Миррины, шел через переполненные народом улицы, находившиеся в соседстве с форумом. Он испытывал то чувство удовольствия, какое свойственно человеку, наблюдающему движение и суету, которые прямо его не касаются.

Благодаря доброте своего господина, он почти всецело располагал своим временем и свободно мог наблюдать самую любопытную в мире картину и, может быть, сравнивать ее с простым образом жизни своих первых дней, которые почти казались ему сном, до такой степени они быстро промчались.

Занятия на форуме уже окончились. По площади двигалась смешанная толпа продавцов, покупателей и ротозеев. Все население Рима торопилось обедать. Это была удивительно пестрая толпа. Сами граждане, обыкновенно называемые плебеями, составляли едва лишь половину этого беспорядочного сборища. Бесчисленные рабы бежали туда и сюда, удовлетворяя нужды или удовольствия своих хозяев. Это были люди всех цветов и народностей, от гигантскандинава, с голубыми глазами и длинными русыми волосами, развевающимися по ветру, до смуглого сына Африки, грубого толстогубого эфиопа, с курчавыми волосами, для которого рабство было уделом от самых давних лет до наших дней. Среди этой раболепствующей толпы попадалось немало и римлян, хотя по наружности и похожих на свободных граждан, но принадлежащих к числу тех, которые в палатах господина трепещут при виде его насупившихся бровей и, несмотря на свои богатства и даже власть, осуждены умирать теми рабами, какими прожили всю жизнь.

Это ухаживанье отпущенников, повсюду таскавшихся за могущественным патрицием и увеличивавших его свиту, было довольно характерной чертой общества времен империи. Чаще всего рабов вольноотпущенников связывали с прежним господином, делавшимся их патроном, столько же узы корысти, сколько и узы благодарности. Часто ожидая от его щедрот своего насущного хлеба, постоянно раздаваемого им у его дверей, они, в силу необходимости, далеко не полно могли воспользоваться своей недавно приобретенной свободой. Отношения патрона к клиенту вызвали вопиющие злоупотребления в царственном городе. Патрон своим всемогущим покровительством прикрывал преступления последнего, а тот, в свою очередь, становился добровольным соучастником пороков своего заступника. Отпущенник более, чем кто-либо другой, делался искусным орудием в руках патриция и без всяких колебаний жертвовал ради прихоти господина своим временем, привязанностями, честностью и даже добрым именем. Эти люди сновали около форума, бегая туда и сюда, с рабски-почтительной торопливостью паразитов, занятые каким-нибудь поручением, в большинстве случаев боявшимся дневного света.

Кроме этих людей площади наводняло значительное число чужестранцев. Одетые в свои национальные платья, они толпились здесь, удивленные и пораженные сутолокой, происшедшей перед их глазами. Здесь можно было встретить галла в его прямой короткой одежде, парфянина в конической шапочке из бараньей шкуры, мидянина в развевающихся шелковых шароварах, иудея с босыми ногами, во всем черном, величественного испанца и раболепного египтянина. И среди них, ловко проскальзывая даже в страшной давке, пробирался с крайней развязностью и спокойствием хитрый и вкрадчивый грек. Всякий раз как через толпу пронесли какого-либо знатного человека, возлежащего на своей лектике или опершегося на плечо любимого раба, а отпущенники и клиенты, ругаясь, толкаясь и рассыпая удары, расчищали ему дорогу, грек никогда не попадался им под руку. И тогда как удары сыпались на какого-нибудь мелкого ремесленника или на плечи здоровяка-варвара, потомок Леонида или Алки-

виада отвечал на насмешки какой-нибудь шутливой прибауткой или успевал отпустить какую-нибудь язвительную колкость, которая в свою очередь всегда вызывала чей-либо смех.

Если Рим поработил и завоевал владения старших братьев по цивилизации, то теперь, по-видимому, ему приходилось переживать реакцию. В свою очередь, царственный город усвоил и греческие манеры, и греческую одежду, и греческую нравственность и изворотливость. Он терял даже свой собственный характер. В самом языке его появились заимствования из словаря поработанных народов, и в такой сильной степени, что его язык сделался более греческим, чем латинским. В особенности римские дамы обожали то благозвучие, благодаря которому так мелодично было афинское красноречие, и воркующие влюбленные неизменно прибегали к нежнейшим греческим выражениям.

Этот необычайно изворотливый народ, в свои лучшие времена стоявший на высоте требований свободы и отличавшийся строгостью нравов, а теперь так легко мирившийся с рабским унижением и легкой нравственностью, играл весьма видную роль в искусстве и науках и обладал даже значительной частью могущества Рима. Знаменитейшие художники и скульпторы были греки. Наиболее предприимчивые откупщики и изобретатели принадлежали к той же народности. Риторике и красноречию можно было учиться только в греческой школе.

Математика, усвоенная без помощи греческих знаний, являлась беспорядочным и бесполезным багажом. Если больной богач отказывался посоветоваться с греческим врачом, то, по мнению всех, он заслуживал приближавшейся смерти. Только один астролог в Риме мог составлять гороскоп патриция, и, как и следовало ожидать, этот человек был греком. В низших слоях судебного дела, в многочисленных постыдных профессиях, вызванных роскошью великого города, греки имели самые доходные занятия, являвшиеся для них почти монополией. Всякий, кто входил в славу или в качестве злонамеренного советника, или как низкопробный шут, ростовщик, маклер, льстец или паразит, – он был непременно греком.

Не один опытный взор был брошен знатоками этой смышленной нации на мощного бретонца, который спокойно шел среди толпы, твердо полагаясь на тяжесть своего кулака и на свою силу. Они провожали его полным зависти взглядом, представляя в уме различные случаи, в которых можно было бы воспользоваться таким здоровым телосложением. Все они, так сказать, прикидывали его на вес, оценивали его нервы, мускулы, члены, рост и красивую наружность, хотя и воздерживались от неблагоразумных вопросов или наглых предложений: его смелый и самонадеянный вид ясно говорил об его смелости и горячности. Отпечаток свободы еще не исчез с его лица, и он производил впечатление человека, у которого есть в толпе своя роль.

Вдруг неожиданное препятствие остановило этот непрерывно движущийся поток пылкой и беспорядочной толпы. Телега, везущая огромные глыбы мрамора и запряженная несколькими парами быков, зацепила повозку патриция и толкнула лектику другого знатного человека, вследствие чего произошла суматоха и обмен бранью. Заинтересованный этим беспорядком и не торопившийся возвратиться домой, раб-бретонец смотрел через головы толпы на разозлившихся и жестикулирующих противников, пока кто-то сильно не хлопнул его по плечу. Он быстро оглянулся, вполне готовый с лихвой воздать за обиду. Но в эту же минуту сильная рука потащила его за тунуку и заключила в свои могучие объятия, из которых он не мог высвободиться. В то же время чей-то грубый голос проговорил над его ухом:

– Легче, парень, легче! Берегись трогать ликторов цезаря, коли ты не спятил с ума. Уверяю тебя, что с этим народом шутки плохи!

Говоривший был широкоплечий мужчина, среднего роста, с геркулесовой грудью. Говоря эти слова, он крепко держал бретонца, без сомнения к счастью последнего, так как в самом деле это были ликторы императора, расчищавшие дорогу цезарю. Последний шел пешком в некотором отдалении, стараясь, чтобы его посещение рыбного рынка прошло незамеченным.

Вителлий тяжело двигался вперед, едва волоча ноги, с видом человека бессильного и изношенного. Лицо его было бледно и одутловато, и потухшие глаза только изредка загорались

блеском. Это было все, что оставалось в нем от ума и изворотливого характера, делавших его фаворитом трех императоров, прежде чем он сам облекся в порфиру. Поддерживаемый двумя отпущенниками, в сопровождении ликторов и трех или четырех рабов, цезарь прогуливался в надежде возбудить хоть какой-нибудь аппетит перед обедом. Какое место могло более способствовать этой цели, как не рыбный рынок, где царственный обжора мог пожирать, если не на самом деле, то хоть глазами, заманчивые произведения океана? Он так редко показывался на римских улицах, что бретонец не мог удержаться, чтобы не проводить его взором, в то время как его новый друг, с большой осторожностью разжимая объятия, стал снова шептать ему на ухо:

– Да, брат! Смотри на него хорошенько и благодари Юпитера за то, что ты не император. Вот поистине шея достойного порфиры, вот голова, созданная для того, чтобы носить диадему! А ведь при всем том, хоть теперь он бел и тучен, как палтус, однако было время, когда он мог править колесницей и владеть мечом и щитом, как никто другой. Говорят, будто он пьет, как никогда не пивал, и однако даже в этой забаве он не по плечу Нерону. Э, пускай говорят что угодно, но Нерона еще никто не заменил! При нем, то и знай, – вино, женщины, зрелища, жертвы, битвы диких зверей и в заключение всего легион людей, целиком и за один раз погибающий в цирке! Вот кто был другом нашего ремесла-то!

– Какого же это ремесла? – добродушно спросил бретонец, освободившийся от державших его в плену объятий. – Я думаю, что смогу угадать это ремесло, не задавая тебе много вопросов!

– Тебе нет нужды его угадывать, – отвечал тот. – Я так же не стыжусь своего ремесла, как и своего имени. Ты, может быть, слыхал про гладиатора Гирпина? Я родом из Тосканы, свободный римский гражданин, готовый с удовольствием помериться со всяким человеком моей силы, пешком или на коне, с завязанными глазами или наполовину обезоруженным, на военной колеснице или на какой-нибудь другой, с двумя мечами или с одним, со щитом или с саблей и кинжалом, как угодно. Для меня всякое оружие хорошо, кроме сетки да затяжной петли. Правду сказать, я не люблю говорить об этих двух оружиях: признаться, они мне насолили. Но с какой стати тебе говорить о разных способах, – прибавил он, смерив глазами мощное телосложение раба. – Ей-ей, я тебя уж где-то видел. По виду можно сказать, что ты принадлежишь к «семье»⁸.

Польщенный похвалой, раб засмеялся.

– Это один из самых честных способов добывать свой хлеб, какие только мне приходится видеть, – отвечал Эска, скорее рассуждая сам с собой, чем со своим знакомцем. – Бывает смерть и хуже той, которая ждет человека в амфитеатре, – прибавил он задумчиво.

– Смерть хуже! – воскликнул Гирпин. – Да трудно найти смерть лучше! Подумай о том, какая масса голов нагромождена там одна на другую, словно яблоки, до самого велария. Патриции и сенаторы ставят об заклад свои ожерелья, браслеты и целые миллионы сестерциев за силу твоей руки или за острие твоего меча. Твоя собственная сила развита до такой степени, что ты чувствуешь себя могучим, как слон, и гибким, как пантера. Вообрази затем, как ты, вооружившись хорошим щитом и держа рукоять длинного двухфутового меча, проходишь перед цезарем и говоришь ему: «Привет тебе, цезарь, от тех, кто идет умирать!» Подумай, дружище, как в ожесточенной борьбе со своим противником ты уставишь ногу в ногу, руку в руку, вопьешься глазами в его глаза или только чутьем почувствуешь лезвие его булата рядом со своим (мы, брат, можем и впотымах драться так же славно, как и среди белого дня), как в это время ты парируешь его удары, отражаешь нападения, угадываешь хитрости и ловишь момент. И когда, наконец, этот момент наступает, ты делаешь скачок, как дикая кошка, и ручка твоего меча свободно ударяется об его грудь, когда он падает и катится по арене!

⁸ «Семья» – термин, каким обозначалась гладиаторская школа, находившаяся в ведении одного начальника.

– А если твой противник раньше воспользуется моментом? – спросил раб, против воли заинтересованный захватывающим энтузиазмом своего собеседника. – Что если ручка твоей сабли не совсем ловко лежит в руке, твой ответный удар чуть-чуть запоздает, и ты сам покажишься по арене с чужой рукоятью сабли в груди и двухфутовым мечом, вонзившимся в тело? Каково тогда?

– Да, братец, тогда, правда, надо переправляться через Стикс, – отвечал тот, – но мне еще никогда этого не приходилось испытать. Когда это случится, я найду, что надо делать. Но от разговора, брат, сохнет глотка, а солнце до того палит, что может совсем зажарить. Идем-ка со мной: я знаю тут одно местечко, где мы можем с тобой урезать бурдюк вина, а затем сыграть в диск или провести в борьбе послеобеденное время.

Раб не считал возможным отказаться. Кроме долга признательности, каким он был связан с этим человеком, предохранившим его от серьезной опасности, было что-то увлекающее бретонца в грубости и энергичности его нового друга. При большой отваге Гирпин отличался меньшим зверством, чем люди его ремесла. Взамен этого он обладал какой-то беззаботной откровенностью, нередко встречающейся среди атлетов всех времен. И благодаря этому качеству ему удалось снискать симпатию раба. В самых дружественных отношениях они вместе отправились освежиться, чего сильно хотелось им обоим, так как они пробыли на солнце несколько часов. Но толпа еще не разошлась, и они могли двигаться только медленно, несмотря на то что прохожие поспешно расступались перед такими рослыми атлетами.

Гирпин считал долгом взять бретонца под свое покровительство и показать ему различные интересные и достойные внимания предметы и важных людей, каких можно было встретить в этот час на улицах столицы, ничуть не думая о том, что его ученик, может быть так же, как и он сам, осведомлен насчет этого. Правду сказать, гладиатор очень любил, чтобы его слушали, и был крайне многословен в своих рассказах, если только действительно у него было что-нибудь на примете. Предметом его речей обыкновенно являлось его удачество и опасные подвиги в амфитеатре, значение которых он никоим образом не склонен был уменьшать. Бывают действительно храбрые люди, являющиеся в то же время хвастунами, и Гирпин был из их числа.

Он дошел до половины длинного рассуждения об одной великолепной схватке со своим противником, рассказал, что оба выступали совершенно нагими и были вооружены только мечами, и затем начал пространно объяснять один роковой удар, обезоруживший его противника. Боец приписывал этот удар своей находчивости и говорил, что его нельзя было отразить никоим образом, как вдруг раб почувствовал, что за тунику его тянет женская рука, и, быстро оглянувшись, с некоторым неудовольствием встретился лицом к лицу со служанкой Валерии.

– До тебя есть дело, – бесцеремонно сказала она с повелительным жестом. – Тебя требует моя госпожа. Поторопись, потому что она не привыкла ждать.

С этими словами Миррина указала на то место, где остановились и уже успели сделаться предметом всеобщего внимания закрытые носилки, лежавшие на плечах четырех высоких рабов-либурийцев. Белая рука приподняла занавеску лектики в ту минуту, когда к ней подошел раб, удивленный и несколько сконфуженный этим неожиданным зовом.

Гирпин с одобрительным видом смотрел на эту сцену. Подойдя сзади носилок, занавеска которых была открыта, раб остановился и сделал грациозный поклон. Затем, гордо выпрямившись, он остановился в ожидании, в позе, помимо его ведома выказывавшей его грацию и молодость. Щеки Валерии были более бледны, чем обыкновенно, стан немного согнут, но глаза ее блестели и улыбка играла на губах, когда она разговаривала с рабом.

– Миррина сказала мне, что это ты принес нынче утром корзинку цветов от Лициния в мой дом. Почему же ты не подождал, чтобы передать мой привет твоему господину?

Мысль о наглости Автомедона снова мелькнула в уме раба; он покраснел, но покорно ответил:

– Если б я знал о твоём желании, я оставался бы под твоим перистилем до этой минуты.

Валерия заметила его краску и приписала ее действию своей ослепительной красоты.

– Миррина узнала тебя посреди толпы, – приветливо сказала она. – Правда, твое лицо и рост не часто встречаются в Риме. Теперь и я узнала бы тебя посреди всех.

Она остановилась, ожидая любезного ответа, но раб, хотя и не остался нечувствительным к похвале, только снова покраснел и промолчал.

Между тем Валерия, поначалу пожелавшая подозвать раба к своим носилкам из простого любопытства взглянуть на рослого варвара, вызвавшего восторг Миррины и сразу отмеченного метким глазом девушки в толпе, теперь вдруг почувствовала, что этот чужеземец, раб, с такой спокойной походкой и благородной осанкой, заинтересовал и очаровал ее. Постоянная поклонница мужественной красоты, она видела в настоящий момент самый законченный образчик ее. Она жаждала поклонения, откуда бы оно ни шло, и в данном случае могла думать, что принимает праведную дань могуществу своей красоты. Как всех женщин, ее интересовало все, что представляло хоть тень тайны, что сколько-нибудь походило на роман, и она обладала неослабевающим женским инстинктом, дававшим ей возможность отличать высокое происхождение и хорошее воспитание, как бы они ни были замаскированы. В лице посла ее родственника случай посылал ей восхитительную загадку и она могла ясно видеть несоответствие между манерами и положением этого человека. Мысли ее никогда не подчинялись чужому давлению, во всех своих действиях она пользовалась величайшей свободой, все ее прихоти и желания беспрекословно выполнялись, а между тем теперь, полузажмуренными глазами глядя на бретонца, она чувствовала, как в ее сердце поднималось новое и странное, пугавшее ее чувство, и она почти готова была признаться себе, что еще никогда до этого дня ей не случалось видеть человека, которого можно было бы сравнить с ним.

Она снова заговорила с ним нежным голосом, стараясь, чтобы он, таким образом, стал позади лектики и мог видеть ее плечо, словно выточенное из слоновой кости, и очаровательную руку.

– Без сомнения, ты доверенный слуга моего родственника? – спросила она. – Правда ведь, ты предан ему и постоянно находишься в комнатах?

Эти слова Валерия сказала скорее для того, чтобы удержать его около себя, чем с целью получить ответ.

– Я отдал бы жизнь за Лициния, – быстро и с воодушевлением отвечал раб.

– Мне кажется, что ты высокого происхождения, – продолжала Валерия с возрастающим интересом. – Почему же я вижу тебя в этой одежде и в таком положении? Лициний мне никогда не говорил о тебе. Я даже не знаю твоего имени. Как тебя зовут?

– Эска! – гордо ответил раб, с совершенно не свойственным рабу выражением.

– Эска! – повторила она, делая ударение на каждом слоге своим нежным и плавным голосом. – Это не латинское имя, но мне уже приходилось его слышать. Кто ты и что ты делаешь?

Эска ответил грустным и несколько недоверчивым тоном:

– Я был в своей стране князем и начальствовал над десятью тысячами людей. Здесь я варвар и раб.

Она протянула ему руку для поцелуя с выражением сострадания и почти ласки и затем, как бы стыдясь за свою снисходительность, велела своим либурийцам продолжать путь.

Эска долго и внимательно провожал глазами удаляющуюся лектику, но Гирпин, положив свою грубую руку на его плечо, разразился хохотом и сказал:

– Дело ясное, приятель. Как великий полководец, ты можешь сказать: «Пришел, увидел, победил». Я сто раз видел, как происходят эти штуки, и всегда в них участвовали такие сильные люди, как мы с тобой. Клянусь Кастором и Поллуксом, тебе, дружище, везет. А впрочем, это всегда так. Она тебя принимает за гладиатора. Ну, братец, в путь! Опрокинем чарку вина в честь каждой буквы твоего имени.

Глава VI

Культ Изида

Был прохладный, спокойный час солнечного заката. Эска неторопливо направлялся к дому господина после своих дневных занятий. Вместе с Гирпином он осушил бурдюк вина и, воспротивившись упрашиваниям этого почтенного человека, предлагавшего ему ознаменовать счастливую встречу пьяным разгулом, проводил его до гимназии. Огромная сила и ловкость Эски необычайно возвысили его во мнении опытного атлета. Как ни неумомимы были развитые мускулы знатока Гирпина, однако он оказался неспособным выдержать состязание с варваром в тех упражнениях, где требовались только физическая сила и длина рук и ног. В беге, скакании и борьбе Эска был гораздо сильнее гладиатора. Но зато долгая практика Гирпина давала ему перевес в метании диска и в фехтовании деревянными мечами. Укрепив на своих кулаках и руках кожаный ремень, или цест, служивший для того же, для чего и наша современная боевая перчатка, он предложил в заключение немного посостязаться в этом суровом упражнении, не сомневаясь, что его знание и опытность дадут ему легкую победу. Результат, однако, обманул его ожидания. В этом роде состязания его соперник был особенно силен. Благодаря длине своих членов, верности глаза, рук и ног, юной гибкости мускулов и здоровой груди он был в данном случае непобедим, и Гирпин не без досады вынужден был признать это.

После первой схватки гладиатор убедился, что ошибся, рассчитывая на слабость своего противника. Вторая схватка не дошла еще до половины, а он уже должен был до последней степени напрягать те средства, какая давала ему его ловкость, и, однако, не в силах был добиться малейшего перевеса над противником. В конце третьей он далеко отбросил от себя цест, разразился проклятиями против жары и предложил, прежде чем разойтись, выпить новый бурдюк за успех ремесла и в честь предстоящего в непродолжительном времени выступления гладиаторов в амфитеатре.

– Пойдем со мной, – сказал Гирпин, несколько изменяя тот покровительственный тон, какой он усвоил сначала – Ты большой мастер! Гиппий сумел бы в одну неделю научить тебя великолепно разделяться даже с самыми лучшими борцами Рима. Я беру на себя твоё пропитание, обучение и специальное образование. Тебе легко сделаться вольноотпущенником, когда ты добьешься хоть какого-нибудь успеха. Подумай-ка! А когда надумаешь, приходи в школу фехтования, что вон в той стороне, и спроси Гирпина. На лезвии булата, может быть, и есть пятно ржавчины, а не то, пожалуй, и два, но, несмотря на это, оно славная и привольная штука. Ну, дружище, будь здоров. Я надеюсь вскоре услышать о тебе весточку.

Гладиатор удалился, стараясь казаться еще более независимым, чем обыкновенно, что можно было приписать грубому сабинскому вину, выпитому сверх меры. Бретонец спокойно отошел и направился к дому своего господина, довольный свежим ветерком, ласкавшим его лицо и погружавшим его в размышления, вызванные советом приятеля.

Небо было окрашено багряным цветом летнего вечера, и благоухающая ночь дышала красотой. Одна за одной загорались звезды, отбрасывая мягкий свет, не столь слабый, как в нашем северном климате. Они казались серебряными светильниками, повешенными в необъятном небе. Житейский шум улицы сменился глухим внутренним гулом, и можно было встретить только кой-каких редких прохожих, неторопливо прогуливавшихся по городу, как бы для того, чтобы насладиться прелестями сумерек. Даже в самом сердце великого города, казалось, все дышало миром, счастьем и покоем. Эска продолжал медленно двигаться вперед, погруженный в свои размышления.

Внезапно взрыв кимвалов и шум голосов поразил его ухо. Дикая и отрывистая мелодия, странно повышаясь и понижаясь, донеслась до него по ветру. В ту минуту, когда он остановился, чтобы прислушаться, мелодия перешла в стройное хоровое пение, и он узнал хор почи-

тателей Изида, возвращающийся с нечистого торжества мистерий этой богини. Скоро свет факелов возвестил об их приближении, и беспорядочная процессия завернула за угол улицы, раскрывая перед взорами зрителей странные обряды своего культа. Ударяя в кимвалы, размахивая факелами, сыпавшими целые потоки искр, нестройно подымая голые руки, жрецы с женственными лицами плясали с безумным воодушевлением вокруг изображения богини, подобрав свои полотняные одежды. У одних головы были обнажены, у других увенчаны гирляндами из листьев лотоса, у третьих закрыты масками, изображающими головы собак и других животных. Но, как ни беспорядочна была их пляска, все они шли одинаковым шагом и делали одни и те же таинственные жесты, смысл которых был понятен только посвященным. Изображение богини несли на плечах двое жрецов. Это были высокие, толстые люди, с одутловатыми, обрюзгшими и чувственными лицами, носящими гнусный отпечаток их касты. Их развевающиеся одежды были усеяны золотыми и серебряными блестками и весьма дорогими камнями, которыми некоторые фанатики украшали свою грудь, шею и руки. Позади изображения находились различные символы, олицетворявшие свойства богини. Здесь можно было видеть изображение священной коровы из полированного серебра, с золотыми рогами и копытами, несомое одним из посвященных. Этот последний находился в состоянии полнейшего опьянения, и по мере того, как качался его корпус, колебалось и изображение над головами толпы.

Во главе процессии шли жрецы, тучные евнухи в белых одеждах. Сзади них двигались священные изображения, несомые недавно посвященными, кандидатами на жреческую должность и уже ранее подготовлявшимися к своим обязанностям через постоянное участие в оргиях, какими обычно выражалось богослужение богине. Отуманенные вином, с голыми руками и растрепанными волосами, они неистово плясали, на минуту оставляя свои ряды и принуждая попадающихся прохожих следовать за ними и увеличивать своим числом размеры процессии. Эта последняя состояла из самой пестрой толпы. Богатые и бедные, старые и молодые, гордый патриций и низкий раб – все смешались в этой неопикуемой сутолоке, и трудно было отличить тех, кто принимал участие в первоначальном кортеже, от зевак, которые пристали к нему после и, увлеченные заразной горячкой, издавали восклицания и плясали с таким же неистовством, как и сами посвященные.

Среди этих зевак можно было видеть самых надменных и знатных римских женщин. Богатые и благородные матроны, потомки тех знаменитых предков, которые были советниками царей, защитниками республики и государственными сенаторами, без краски стыда толпились теперь по улицам, без покрывал, опьяненные вином, рука об руку с известнейшими распутницами. Множество факелов бросало свой красный свет на лица этой толпы, освещая одну из матрон с презрительной улыбкой на устах и с надменным лицом, которая, по-видимому, не замечала того, что происходило вокруг. Гордая голова Валерии выделялась над головами ее подруг, среди толпы самых популярных распутниц, с которыми, казалось, она не имела ничего общего, кроме решимости попать всякую скромность и стыдливость.

Эска увидел ее в ту минуту, когда она проходила мимо. Несмотря на мерцающий свет факелов, он заметил, что она покраснела и, казалось, на мгновение хотела скрыться за спиной высокого и рослого жреца, шедшего сбоку. Но она тотчас же овладела своим хладнокровием. Выступая горделивее, чем когда-либо, она прошла мимо, и ее щеки постепенно приняли свой естественный цвет.

Однако он не имел досуга следить за этой надменной красавицей, прелести которой, говоря правду, произвели немалое впечатление на его воображение. Шум, происшедший в начале процессии, вдруг остановил движение этой толпы и вызвал большое замешательство.

Факельщики устремились на место сумятицы. Серебряная корова падала и не раз была поставлена снова в то положение, какое занимала сначала. Изображение самой богини едва не подверглось той же участи. Священные песни прекратились, и вместо них сто голосов однове-

менно начали издавать восклицания, то гневные, то просительные, то неприличные и веселые. «Пусти ее», – говорил один. «Держи крепче!» – вопил другой. «Тащи ее с собой! – кричал пьяный обожатель богини. – Если она невинна, она последует культу богини; если она совершила святотатство – ее постигнет божественный гнев Изиды!» – «Не дело вы затеваете!» – промолвил вмешавшийся благоразумный человек. «Это римская девушка!» – слышались голоса. «Нет, это варварка!» – «Мидянка!» – «Испанка!» – «Персиянка!» – «Еврейка!.. Да, да, конечно, еврейка!..»

В это время виновница всей суматохи, девушка, покрытая покрывалом и одетая в черное, билась в руках огромного евнуха, схватившего ее, как сокол схватывает голубку. Безжалостный к мольбам несчастного ребенка, охваченного смертельным ужасом, он держал ее в своих зверских объятиях. Когда она, ничего не подозревая, повернула из-за угла, неистовствующая толпа окружила ее, увидя, как она прижалась к стене, в безумной надежде не быть замеченной и не подвергнуться оскорблениям. И не было ничего удивительного, что она подверглась оскорблению этой бесчинной и разнузданной массы. Несмотря на то что во время возмутительного насилия, жертвой которого она сделалась, ей разорвали платье и оцарапали нежные руки, она, с истинно женственной скромностью, держала свое покрывало плотно опущенным на лицо и сопротивлялась попыткам снять его у нее со всей энергией, к какой только были способны ее тоненькие руки.

В ту минуту, когда евнух схватил ее, нагнувшись своим огромным корпусом и склонив свое одутловатое лицо к дрожащей девушке, она не могла удержаться от резкого крика, хотя в это самое мгновение она уже чувствовала, насколько он бесполезен и насколько ее положение безнадежно. На ее отчаянный крик сто голосов отвечали насмешками.

Но Спадон, так звали евнуха, и не подозревал, как близка была помощь, призываемая его жертвой, и с какой неожиданностью приближался час немедленного и полного отмщения, который должен был напомнить ему то, что он уже забыл с давних времен: тяжесть руки мужчины и силу наносимого ею удара. При первом крике девушки Эска ринулся в толпу. В три прыжка он был подле ее преследователя и, опустив свою тяжелую руку на его плечо, решительным тоном потребовал у него оставить жертву. Евнух нагло рассмеялся и ответил зверской шуткой. Валерия не могла удержаться от того, чтобы не приблизиться посмотреть на происшествие. И долго еще потом она с отрадой вспоминала эту сцену, при которой ей пришлось испытать больше возбуждения, чем страха. На такое воображение, каким обладала она, эта сцена должна была произвести бесспорное впечатление.

Облитый светом факелов, подобный бронзовой статуе какого-то полубога, возвратившегося к жизни, Эска стоял перед евнухом в угрожающей позе, с гневом на лице, с выражением непреодолимой силы во всяком члене. В двух шагах от него виднелся жирный и неуклюжий Спадон, со своим широким лицом, носившим отпечаток обжорства и чувственных удовольствий и теперь принявшим отвратительное выражение злобы и страха. Дальше, почти в объятиях гнусного обидчика, стояла перепуганная девушка в покрывале, отвернув голову от его отвратительного лица. Ее руки уперлись в грудь евнуха, а на лице были написаны ужас, отвращение и омерзение. Всех троих окружила масса кривляющихся и жестикулирующих людей. И вся эта сцена делалась еще более странной и необычной благодаря озарявшему ее фантастически колышающемуся свету. Пораженная Валерия ожидала, чем это кончится.

– Пусти эту девушку! – повторил Эска тем отчетливым голосом, каким говорит человек, собирающийся нанести удар. С этими словами он сжал обидчика в своих объятиях, и его руки, как железо, врезались в дряблое тело евнуха.

Спадон завопил от ярости и испуга, но отпустил девушку, инстинктивно подбежавшую к своему защитнику.

– На помощь! – вскричал евнух, озираясь вокруг себя, чтобы позвать товарищей – На помощь! Или вы позволите оскорблять жреца и позорить богиню? Хватайте его и не пускайте!

Если бы Эска оказался на земле, несомненно, ему уже не пришлось бы подняться, так как столпившиеся вокруг него жрецы, с дикими криками и пылающими глазами, вслух высказывали свое возмущение. Разгул предыдущих часов быстро сменился жадной кровью. Валерия, хотя и ни на мгновение не опасавшаяся за жизнь бретонца, протолкалась в середину.

А между тем уже становилось опасным оставаться долее среди этой фанатической толпы.

Эска охватил одной рукой талию девушки, готовясь другой защищать ее от обидчиков. Спадон, ободренный своими товарищами, сильно ударил бретонца и сделал безнадежную попытку отнять ускользнувшую от него жертву.

Тогда Эска собрался с силами, как готовая прыгнуть пантера, и вдруг его мощная рука вытянулась с силой и упругостью катапульты. Евнух отскочил на несколько шагов и тяжело упал на землю, со шрамом на щеке, как будто нанесенным ударом меча.

– Euge! – воскликнула Валерия в порыве удивления и восторженности. – Метко!.. Клянусь Геркулесом, эти варвары славно владеют своими руками... Жрец повалился, как бык под ударом жреца. Тяжко ли он ранен? Встанет ли он?..

Эта последняя фраза была обращена к толпе, сгучившейся около злополучного Спадона, и исходила из того чувства любви, какое никогда совершенно не исчезнет из сердца женщины. Свалившийся евнух, казалось, не обнаруживал никакого намерения встать. Он растянулся на земле, испуская продолжительные, жалобные стоны.

После такого испытания силы бретонца никто другой из посвященных уже не взял на себя обязанность отомстить за оскорбление величия богини и заниматься дальше девушкой и ее заступником. Поддерживая ее и почти неся, Эска удалился решительным и скорым шагом, останавливаясь минутами, чтоб оглянуться назад, как будто жалея покидать неоконченное дело и ничуть не боясь возобновить бой. В последний момент, когда Валерия видела его, он учтиво и покровительственно наклонил к девушке свое благородное лицо, утешая и ободряя все еще страшно перепуганного ребенка.

Тогда в знатной даме вдруг возникло инстинктивное отвращение к окружавшей ее толпе. В ней проснулась зависть к этой незнатной и неведомой девушке, которая удалялась по стемневшим улицам, опираясь на руку своего сильного защитника. Ей хотелось бы быть крестьянкой или рабыней, лишь бы только у нее был кто-нибудь в мире, кем бы она могла интересоваться, кого бы могла любить. Валерия была балованным ребенком с того самого дня, как она покинула свою колыбель, ту колыбель, около которой римские кормилицы, восторженно повторяя свои благословения, оказавшиеся для нее пророческими, пели: «Дитя, пусть монархи домогаются твоей руки и розы распускаются на твоём пути!»

Казалось, в самом деле метафорические цветы богатства, счастья и уважения рождались под ее ногами и благодаря своей величественной красоте она действительно была достойна сделаться невестой императора. Но, чтобы завоевать сердце Валерии, нужно было нечто другое, чем помпа и роскошь, нечто более благородное, чем порфира и диадема.

Она до такой степени привыкла ко всему красивому, дорогому и утонченному, что уже стала смотреть на эти излишества как на необходимость. Ей казалось совершенно естественным, что дома были великолепны, повозки роскошны, кони быстры и мужчины отважны. «Nil admirari» – «ничему не удивляться» – было девизом людей ее положения, идеал которых не давал достигавшему его лицу патента на превосходство, но зато покрывал насмешкой и презрением того, кто стремился достигнуть его и не достиг. Жизнь Валерии была непрерывной цепью наслаждений и развлечений, и, однако же, она не была ни счастлива, ни довольна. С каждым днем она чувствовала нужду в чем-нибудь новом, в каком-нибудь новом возбудителе, и, бесспорно, эта-то нужда, более чем ее испорченность, заставляла ее, как и многих других женщин ее положения, участвовать в столь скандальных сценах, как торжество культа Юноны, Изиды и других богов и богинь мифологии.

Излишне говорить, что у Валерии была масса поклонников. Но каждое новое лицо для нее представляло только интерес новизны. Минутный фаворит напрасно хвалился бы своим успехом. В продолжение первой недели он затрагивал ее любопытство, во вторую увлекал ее воображение; после этого, если он был благоразумен, он отходил в сторону, прежде чем его к этому пригласили бы с не допускающей колебаний откровенностью. Ее родственник Лициний, быть может, был единственным человеком в мире, которого она уважала, и это происходило потому, что она не имела ни малейшего влияния на его чувства и мнения, потому, что она ясно видела, как часто неодобрительно смотрел он на ее поступки и относился к ее характеру с той любовной жалостью, которая недалеко от презрения. Даже Юлий Плацид, наиболее постоянный и искусный из ее поклонников, не производил на ее сердце никакого впечатления. Она ценила его ум, забавлялась его разговором, сочувствовала глубине его замыслов, его княжеской причудливости и беспорядочной жизни, но ни минуты не думала о нем, когда его не было с нею. В холодной жестокости характера этого человека было что-то отталкивавшее от него Валерию помимо ее воли. Пожалуй, она уважала личность Гиппия, своего учителя фехтования, отставного гладиатора, соединявшего красоту черт с выправкой солдата, в которой была своя привлекательность. Пожалуй, этот человек возбуждал ее уважение более, чем всякий виденный дотоле, так как, несмотря на всю свою гордость и холодность, Валерия была женщиной, способной увлечься счастливой наружностью. Но Гиппий, в силу репутации, какой он был обязан своему ремеслу, был баловнем доброй половины римских дам, и, возможно, Валерия в данном случае следовала только примеру своих подруг, среди которых в эту эпоху считалось признаком большого щегольства и самого тонкого вкуса быть влюбленной в гладиатора.

Склонная по своей физической организации к пылким страстям, Валерия сдерживала себя крайней гордостью и более чем мужской силой воли. Под ее атласистой кожей мускулы ее белой руки были тверды и крепки как мрамор, а в спокойной и невозмутимой груди билось сердце, которое и в счастье, и в беде могло быть дерзким, могло выносить страдание и делать вызов кому бы то ни было. Валерия была женщиной, которую и очень смелый, и вовсе неопытный любовник мог бы прижать к своей груди, но только один человек мог приручить ее и сделать кроткой и терпеливой, как голубка.

Теперь, казалось, что-то подсказывало ей, что пустота ее сердца скоро должна быть заполнена. Мужественная красота Эски произвела сильное впечатление на ее чувства. Аномалия его положения пленила ее воображение. Было что-то удивительно увлекательное в тайне, окружавшей его, было какое-то мучительное наслаждение в позоре любить раба. И когда она увидела его, храброго, красивого и торжествующего победу над злополучным противником, она сразу увлеклась им, и ее глаза следили за ним с выражением ласки и влюбленности, еще никогда не воодушевлявшим их прежде.

Бретонец удалился, поддерживая рукой нетвердо ступающую девушку, воздерживаясь несколько минут от произнесения хоть бы одного слова ободрения или утешения. Сначала, под влиянием внутренней реакции, девушка шла шатаясь, затем поток слез облегчил ее. Долгое время она плакала молча, затем, когда к ней, казалось, возвратилось мужество, она достаточно пришла в себя, чтобы заметить своего защитника и поблагодарить его с нежной живостью, доказывавшей, что ее слова шли прямо от сердца.

– Я вижу, что на тебя можно положиться, – сказала она особенно нежным голосом, хотя в ее языке, как и в языке Эски, слышался легкий чужестранный акцент. – Я не могу ошибаться, глядя на лицо храбреца, а ты, конечно, храбрец. Теперь нам недалеко идти. Ты доведешь меня до дому?

– Я доведу тебя до твоего порога, – ответил он глубоко почтительным тоном. – Но бояться тебе нечего. Пьяные жрецы и их таинственная богиня теперь далеко. Вот уж, право, богослужение, вполне достойное владычицы мира!

– Это ложные боги, – пылко ответила молодая девушка. – Как это люди так слепы, так испорчены!

Она вдруг остановилась и прижалась к своему спутнику, надвигая свое покрывало на лицо. Ей послышался шум торопливых шагов, и она испугалась преследования.

– Пустяки! – отвечал Эска, ободряя ее. – Самое худшее, чего можно бояться, – это встреча с каким-нибудь пьяным клиентом, уходящим с обеда своего патрона. Удивительно изнеженный народ эти римские граждане, – прибавил он добродушным тоном. – Я могу обещать тебе, что мы минуем их благополучно, если только их пойдет не более дюжины одновременно.

Эти ободряющие слова успокаивали девушку так же, как и мощная рука, на которую она опиралась. Ей было отраднее чувствовать себя в безопасности после пережитого испуга. Поспешные шаги, в самом деле, принадлежали каким-то разгульным праздншатаям, возвращающимся с оргии домой. Увидев промелькнувший силуэт женщины, они поторопились пойти ей навстречу, но выражение лица ее защитника заставило их переменить намерение, и они предпочли пройти по другой стороне улицы, чем иметь дело с таким сильным бойцом. Молодая девушка в душе гордилась своим провожатым, и с каждой минутой спокойствие ее увеличивалось.

Наконец она ввела его в тесную и мрачную улицу, с конца которой можно было видеть, как при свете звезд блестел Тибр. Она остановилась у маленькой низкой дверцы, пробитой в голой стене, и нажала пальцем на потайную пружину. Дверь бесшумно отворилась. Тогда, повернувшись к своему спутнику, она сказала полным искренности тоном:

– Я не поблагодарила тебя, как ты того стоишь. Не хочешь ли ты зайти в наше скромное жилище и разделить наш обед, прежде чем пойдешь продолжать свой путь?

Эска не чувствовал ни голода, ни жажды, однако наклонил голову и последовал за девушкой в дом.

Глава VII Истина

Помещение, в котором оказался бретонец, представляло странный контраст простоты и блеска, изобилия и умеренности, совершенной бедности и изысканной роскоши. Голая стена почернела от времени, но на ней была прикреплена серебряная лампада, поддерживаемая грубой подставкой, и в лампаде горело благовонное масло. Сырой и поврежденный пол местами был устлан густым шелковым ковром ярких цветов. Ткани самых дорогих азиатских фабрик покрывали изуродованные скамейки и сломанную кровать, по-видимому единственную мебель квартиры. Те же самые контрасты Эска заметил и во всех других предметах обстановки. Чаша, наполненная ливанским вином, охлаждалась в сосуде из грубой глины, а в золотом кубке была налита вода; связка восточных дротиков прекрасной работы, с инкрустациями из слоновой кости, по-видимому, находилась под защитой обыкновенного обоюдоострого меча, чуждого всяких украшений, и его рукоятка, лоснящаяся и истертая от постоянного употребления, указывала на оружие, служащее не для роскоши, но для ежедневного употребления, словно бы это был верный спутник какого-нибудь грубого солдата. Комната, которую Эска мимоходом окинул быстрым взором, вела во внутренний покой. Этот последний, вероятно, был прежде так же гол и попорчен, но обстановка его казалась еще богаче и необычайнее. Помещение освещалось приятным светом, исходящим от лампы. В ней горело редкое сирийское масло, которое с большим трудом могли доставать только самые богатые лица в Риме. Когда Эска вслед за девушкой вошел в это уединенное место, у него замелькало в глазах, и он несколько мгновений должен был всматриваться, чтобы разглядеть окружавшие его предметы.

Почтенный человек, с лысой головой и длинной с проседью бородой, сидел у стола в ту минуту, когда они вошли. Он читал пергаментный список, весь испещренный сирийскими буквами. Сирийский язык в то время вообще был употребителен во всей Малой Азии и довольно обычен в Риме. Старик, казалось, был так погружен в свое чтение, что и не заметил их прихода до того момента, пока девушка, не снимая покрывала, бросилась к нему с выражением глубокой нежности и радости, вызванной возвращением. Язык, на котором изъяснялась она, был незнаком бретонцу, но по ее жестам и тому волнению, какое минутами охватывало ее, он понял, что она рассказывала о своем ночном походе и том участии, какое принимал в нем Эска. Вдруг она обернулась и сказала по-латыни:

– Вот мой спаситель! Он, как лев, пришел выхватить меня из рук злых людей. Благодарю его от имени моего отца, от твоего собственного, от всего моего рода и всего моего колена. Предложи ему всего, что есть лучшего в доме. Дочь Иуды не каждый день встречает опору в такой руке и сердце, когда попадает в руки язычника и гонителя!

Старик сердечно и благодушно протянул руку Эске, и бретонец заметил добрую улыбку, сопровождавшую этот жест и озарившую его спокойное и кроткое лицо.

– Мой брат вскоре вернется, – сказал он, – и сам поблагодарит тебя за спасение своей дочери от надругательства и, может быть, еще от чего-либо худшего. А пока Калхас высказывает тебе привет в доме Элеазара. Мариамна, – прибавил он, обращаясь к девушке, – приготовь нам чего-нибудь поесть. Не в обычае нашего народа отпускать чужестранца голодным.

Девушка вышла, чтобы исполнить поручение, а Эска, избегая всякой похвальбы и вовсе уже позабыв о той опасности, какой он только что избежал, по-своему передал рассказ о ночных приключениях. Калхас выслушал его с серьезным видом. Когда тот кончил, старик показал на читаемый им свиток, в эту минуту разостланный на столе.

– Придет время, – сказал он, – когда написанные здесь слова будут на устах всех людей, живущих на земле. Тогда не будет ни битв, ни гонений, ни страданий, ни скорбей. Тогда люди будут любить друг друга, как братья, и жить в любви и милости. Этот день может казаться

отдаленным и пути, которые ведут к нему, жалкими и недостаточными, однако писано, что это будет так, а что написано – сбудется.

– Ты думаешь, что Рим все выше и выше вознесет свое могущество и подчинит все народы, как подчинил нас, одним словом, делается тем, чем он гордо называет себя теперь, – владыкой мира? Да, действительно, крылья орла огромны и сильны, его клюв наточен, и когти никогда не выпустят из своих объятий того, во что они вопьются.

Калхас улыбнулся и покачал головой:

– Голубь возобладает над орлом, ибо любовь – сила, более могущественная, чем ненависть. Но я разумею не Рим, говоря о том влиянии, которое водворит истинного Бога на земле. Легионы, действительно, очень хорошо дисциплинированы, солдаты, составляющие их, готовы на смерть, но я знаю воинов, служащих более великому делу, чем служба цезарю, ведущих более тяжкую брань. У них караул дольше, противники многочисленнее, но зато триумф будет надежнее и достославнее.

Эске казалось, что он слышит слова непонятного ему языка. В уме его возникали мысли о столкновении войск и шуме оружия. Он думал о воинах в белых туниках, вооруженных длинными мечами, упорно сопротивляющихся нападающему врагу. И среди них он был одним из самых храбрых и лучших.

– Трудно бороться с Римом, – сказал он с загоревшимися щеками и заблестевшим взором. – Однако я не могу воздержаться от мысли, что, если бы мы не перешли в наступление, а ограничились только защитой, затем сосредоточивали бы силы внутри, по мере приближения врага, пользовались бы случаем изнурять его и наносить ему удары, не позволяя ни на минуту собраться, наконец, если бы мы больше полагались на свои леса и реки, а не на телесную силу – я думаю, что тогда мы не были бы побеждены римскими орлами, сковали бы их когти и отбросили бы их самих за море. Но к чему теперь думать об этом? – прибавил он тоном глубокого смирения. – Я не более как бедный варвар, пленник и раб.

Калхас кинул пристальный взгляд на лицо юноши, затем положил ему руку на плечо и сказал вопросительным тоном:

– В твоих густых кудрях нет ни одного седого волоса, твой лоб не в морщинах и, однако же, ты, должно быть, изведал горя?

– Кто его не изведал! – живо отвечал Эска. – Однако я никогда не думал, что мне придется на опыте изведать его.

– Ты раб и хотел бы быть свободным? – медленно и отдельно спросил Калхас.

– Правда, что я раб, – отвечал бретонец, – но я возвращу себе свою свободу. День смерти, наконец, придет.

– А после смерти? – продолжал старик тем же ласковым и вопросительным тоном.

– После смерти, – отвечал Эска, – я буду свободен, как те стихии, которые я привык почитать и с которыми я сольюсь. Да и зачем мне знать что-либо другое, кроме того, что смерть – конец всех скорбей и всех удовольствий.

– А жизнь, с ее переменами, не слишком ли приятна, чтобы могла погибнуть в подобных условиях? – спросил старик. – Неужели тебя удовлетворит сознание того, что ты исчезнешь так же, как исчезает след твоих шагов на зыбучем песке? Неужели ты можешь вынести мысль, что сегодня прошло навсегда, что от него ничего уже не останется, и завтра наступит ночь бесконечного мрака? Смерть должна быть для тебя весьма ужасна, если таково твое убеждение и вера.

– Смерть никогда не ужасна для храбреца, – отвечал Эска, – нет надобности учить бретонца умирать с оружием в руках.

– Ты считаешь себя храбрецом? – сказал Калхас, внимательно смотря на оживившееся лицо и разгоревшиеся глаза раба. – Ты не видал, как умирают мои сотоварищи, иначе ты знал бы, что нужно еще нечто другое, кроме смелости, чтобы выполнить дело, возложенное на нас.

Что бы ты сказал, видя, как слабые женщины и нежные девушки, измученные усталостью, обесиленные голодом, истомленные зноем и жаждой, брошенные в добычу диким зверям, выносят неслыханные пытки и, однако, встречают их с постоянной улыбкой исполненного долга, как будто видят цель, к которой стремятся и от которой их отделяет едва лишь несколько часов? Какого мнения ты будешь о вождях, повелениям которых я служу, о тех людях, которые здесь, в Риме, перед лицом цезаря и его величия исповедали своего Бога и безропотно умерли за свое исповедание? Я видел Петра, того Петра Галилейского, о котором здесь все говорят и о котором не перестанут говорить и в будущие времена. Я видел, как он противопоставил магической силе Симона бесхитростную веру в своего Учителя, Которому он служил, и видел, как маг был низринут на землю, подобно раненому коршуну. Я видел самого надменного и жестокого из цезарей по его возвращении из греческого похода, откуда он вынес презрение этого льстивого народа к своему шутовству, я видел, как он осудил апостола на крестную смерть, так как Петр дерзнул бичевать пороки Нерона и говорить ему истину. Я слышал, как он просил быть распятым головой вниз, так как не считал себя достойным страдать в одном положении с Господом, и еще вижу и сейчас это бледное лицо, эту благородную голову, печальные и проникновенные глаза, слабое и истощенное тело, а над всем этим непобедимую веру и торжествующую отвагу человека, бесстрашно идущего на смерть... Я следовал за Павлом, знатным фарисеем, потомственным римским гражданином, и видел, как он один, среди толпы путников и сотни солдат, бесстрашно выносил бурю, застигшую наш покинутый корабль, и говорил нам слова ободрения, говорил, что как ни много нас, все мы, двести семьдесят пять человек, придем в пристань целыми и невредимыми. Я помню, как верили мы этому человеку невысокого роста, с серьезным и добрым лицом, с блестящим взором, густыми бровями, в окладистой бороде которого там и сям проходили седые пряди. Мы знали, что оскудевшее тело этого человека поддерживал и укреплял его дух. Сами варвары, к которым мы приставали, признавали его влияние и охотно почитали его, как Бога. Нерон был прав, боясь этого спокойного, смиренного, полного веры, но вместе с тем энергичного человека. Царственное животное боялось его и дивилось ему, любило и ненавидело, завидовало ему и презирало его, и, несмотря на эти чувства, оно должно было утопить его в крови.

– И этот человек, – спросил Эска, – подвергся закланию?

Любопытство раба было сильно затронуто рассказом старца, хотя изредка он и бросал взгляды на ту дверь, через которую вышла Мариамна.

– Его не могли распять, – отвечал Калхас, – так как он был благородного происхождения и прирожденный римский гражданин, но они отторгли его от любви нашей и заставили его томиться в темнице до того самого дня, когда его вывели оттуда, чтобы обезглавить. О! Страшно было смотреть на Рим в те дни! Пепел разоренного города разъедал ноги, глаза застилал багровый дым, саваном нависший в удушливом воздухе. Дворцы обратились в руины, и закоптелые останки империи были нагромождены там и сям. Трупы, наполовину разложившиеся, наполовину съеденные, запрудили улицы. Сироты, трепещущие и измученные голодом, бродили с впалыми лицами и горящими глазами, или – о, это было еще ужаснее! – безмятежно играли, не ведая о своей участи. Говорили, будто христиане подожгли город, и эта ужасная, ничем не оправдываемая клевета довела до казни множество неповинных жертв. Христиане! Эти угнетенные, преследуемые, презираемые люди, единственное желание которых – жить в братстве с другими людьми и вера которых – всецело мир и любовь! Среди этих жертв я мог бы насчитать человек двадцать мужчин, женщин и детей из моих соседей, от которых я узнал благие откровения, друзей, с которыми я часто сиживал за одним столом. Окоченевшие и холодные, они лежали на Фламиниевой дороге в то утро, когда Павла вели на смерть. Но на этих неподвижных лицах был написан мир, эти одеревенелые руки были сложены для молитвы, и, хотя тело было истерзано и оболочка повержена в пыли, дух возвратился к создавшему его Богу и отошел в тот иной мир, о котором ты даже и не слышал, но который посетишь и ты, с

тем чтобы больше уже не возвращаться назад. Полностью ли ты понимаешь меня? Это уж не только на время, но навсегда!

– Где это место? – спросил Эска, для которого мысль о духовном существовании, врожденная для всякого мыслящего существа, не была новой. – Здесь оно или там? Внизу или наверху? На звездах или под стихиями?.. Я знаю мир, где проходит моя жизнь, я его вижу, слышу и чувствую... Но где же находится иной мир?

– Где он? – повторил Калхас. – А ответь мне, где самые дорогие желания твоего сердца, самые благородные мысли твоего ума?.. Где твоя любовь, твои надежды, увлечения и воспоминания?.. Где лучшая часть твоей природы?.. Где угрызения, вызываемые злом, где твои тяготения к добру, мечты о будущем, убеждение в действительности прошедшего?.. Где все это, там и другой мир. Ты не можешь его ни видеть, ни слышать и, однако, знаешь, что он есть. Разве счастье человека бывает когда-либо полно? Скорбь, наблюдаемая нами в других, одинаково ли тяжела, когда постигает нас? И почему все это так? О, что-то говорит нам, что настоящая жизнь не более как только малая часть того круга, какой душа должна пройти в своем бытии. Ты ведь достаточно пожил в Риме и знаешь, что круг есть символ вечности.

Эска погрузился в размышление и молчал. Это были те думы, которые овладевают человеком помимо его воли и до такой степени непривычны для него, что необходима внешняя причина, наталкивающая его внимание в эту сторону, подобно тому как кожа, покрывающая тело, не обращает на себя внимание человека до той минуты, пока она не будет раздражена ранами или болезнью. Наконец бретонец с возбуждением поднял голову и воскликнул:

– И конечно, в этом мире все люди будут свободны?

– Все люди будут равны, – отвечал Калхас, – но, смертно существо или бессмертно, оно никогда не бывает свободно. Человек создан для того, чтобы нести бремя, но Тот, Кому я служу, изрек мне: «Иго мое благо и бремя мое легко». И каждую минуту моей жизни я вижу, как оно отраднo и легко.

– И однако лишь минуту назад ты говорил мне, что смерть и унижение были уделом тех, кто служил одному делу с тобой! – заметил бретонец, внимательно глядя на своего собеседника.

Лицо старика было окружено ореолом победоносного мужества и воодушевления. На минуту Эске показалось в его лице выражение неукротимой смелости, свойственной отважному и мятежному человеку. Но оно так же быстро исчезло, как и появилось, сменившись выражением чистого и непритворного смирения. Наконец старик сказал:

– Смерть для меня – предмет пылкого ожидания, и благословен приход ее! Благословенно унижение, доставляющее величайшие почести в этом и ином мере! Блаженны те, кто претерпевает мученичество! О, если бы я мог быть среди них! Но мое дело начертано, и мне довольно быть смиреннейшим служителем моего Учителя.

– А кто же этот Учитель? Скажи мне о нем! – воскликнул Эска, любопытство которого было затронуто в такой же степени, в какой чувства были возбуждены этой беседой с человеком, по-видимому глубоко проникшим в истину произносимых им слов, святых, отраднoх и искренних.

С глубоким уважением старик наклонил голову, и на его лице блеснула безмерная радость, как будто он с любовью и признательностью вспоминал о какой-то торжественной поре своей жизни.

– Я видел Его один раз, – сказал он, – на берегах Галилейского моря. Я, говорящий с тобой в эту минуту, видел Его собственными глазами, когда малые дети были у ног Его. Но мы поговорим об этом после, так как ты устал и тебя ждет отдых. Кто хочет иметь ум победоносным и светлым, тот должен освежать тело. С сегодняшнего вечера ты для нас стал истинным другом. С этого дня благословен твой приход в дом Элеазара!

Когда он говорил эти слова, девушка, на помощь к которой Эска пришел так кстати, вошла в комнату. Она поставила пищу на грубый стол, вылила содержащееся в бурдюке вино в чеканную чашу и предложила ее своему защитнику с выразившим смущением, но грациозным жестом и робкой улыбкой.

Мариамна сняла свое покрывало, и если воображение Эски во время ночной прогулки было возбуждено грациозностью ее движений и нежной интонацией голоса, то теперь, когда он увидел ее, ему не пришлось разочароваться. Черные глаза, так робко смотревшие на него, были велики и блестящи, как глаза газели. В них было меланхолическое, умоляющее выражение, свойственное этому животному, и, хотя они были полны нежности и ума, в них проглядывало беспокойство, присущее тем, чья жизнь протекает в опасности и всевозможных превратностях. Обыкновенно лицо молодой девушки было бледно, но теперь ее щеки загорелись под тем почтительным взглядом, каким смотрел на нее Эска. Правильные черты ее лица отличались некоторой, не совсем естественной, худобой, являвшейся следствием ее вечно тревожной жизни. В особенности это касалось орлиной тонкости ее носа и едва заметной выпуклости скул. В счастливой обстановке это лицо было бы лучезарно и блестяще, как драгоценный камень, в несчастий оно сохраняло очарование редкой целомудренной красоты, отличавшей ее. В одежде Мариамны заключались те же контрасты, что и в обстановке дома. Платье было черно, как и покрывало, и сшито из простой и грубой ткани. В том месте, где оно распахивалось, складки его были скреплены простым камнем очень высокой цены, и на ее белой, прекрасно выточенной шее можно было видеть два или три звена толстой золотой цепи.

Когда она проходила по комнате, озабоченная приготовлением кушанья, Эска заметил стройность ее рельефно обозначавшейся талии. Во всей ее фигуре было какое-то скромное достоинство, совершенно чуждое той живости и подвижности, какие отличали римских девушек, и в этом заключалась одна из прелестей, особенно увлекавших бретонца.

Казалось, Калхас любил этого ребенка, как свою дочь, и его лицо становилось приветливее и ласковее, когда он следил любовным взором за ее движениями.

Эска заметил, что стол был накрыт на троих и что рядом с одной из деревянных тарелок был поставлен очень красивый и дорогой кубок. Глаза Мариамны уловили минутный взгляд, брошенный рабом на это пустое место.

– Это для моего отца, – тихо сказала она, отвечая на вопрос, прочитанный на его лице. – Сегодня он медлит дольше обыкновенного, и я боюсь... очень боюсь за него, потому что он смел и готов быстро хвататься за меч. Впрочем, нынешний вечер он не взял оружия, и я не знаю, бояться ли мне или успокоиться, что теперь он один и безоружен в этом нечестивом городе.

– Он в руках Господа! – сказал с умилением Калхас. – Но я ничуть не боюсь за Элезара, – прибавил он с гордым и воинственным видом, – хотя бы он был окружен двадцатью такими бродягами, которые слоняются ночной порой по улицам Рима, и хотя бы они были вооружены с ног до головы, а у Элезара был только пастуший посох для защиты.

– Значит, он такой грозный боец? – спросил Эска, на которого храбрость редко не производила благоприятного впечатления.

Говоря эти слова, он с возрастающим любопытством скользнул взором по лицам своих собеседников.

– Ты это рассудишь сам, – отвечал Калхас, – потому что теперь он скоро должен прийти. Как бы то ни было, человек, который без лат и оружия решился соскочить со стен осажденного города, как сделал мой брат, без всякой помощи сумел обломать голову римского тарана⁹ и

⁹ *Таран* – одно из стенобитных орудий римлян. Все метательные орудия римлян были основаны на упругой силе тетивы, которой в различных орудиях давали различную толщину. Катапульты метали стрелы почти прямолинейно, баллисты выбрасывали снаряд с навеса, иногда под углом в 45°.

сделать оружие бесполезным, снова влез на стену со своим трофеем, пренебрегая ранами, вернулся, отбиваясь от целой римской манипулы, затем, удовлетворившись одной каплей воды, снова оделся в свои вооружения и занял свое место на валу, – такой человек не способен испытать малейшего страха, что бы ни произошло у него при встрече с ночными праздношатаями. Но я уже сказал, что ты сам оценишь его.

– Ах, вот он наконец! – воскликнула Мариамна в ту минуту, когда наружная дверь открылась и в соседней комнате послышались твердые и размеренные мужские шаги.

Эска внимательно смотрел на девушку. И до сих пор она была очень бледной, но ему показалось, что теперь она побледнела еще больше.

Глава VIII

Иудей

Вошедший мужчина производил впечатление человека, которому близко знаком каждый угол и каждый тайник. Ему было около шестидесяти, но его черные глаза еще блестели огнем молодости, в бороде и густых волосах только показывалась легкая седина, а сильное тело, казалось, приобрело с годами огромную мощь. По наружности это был воин, окрепнувший, или лучше сказать, сделавшийся железным, благодаря годам сражений, страданий и непрестанных трудов.

Хотя в нем и было некоторое сходство с Калхасом, однако невозможно были найти два лица, более различные по характеру и выражению, чем у Элезара и его брата. Лицо последнего было полным олицетворением милости, доброты и мира; наоборот, пылкие страсти, глубокие замыслы, опасения и постоянные размышления наложили на лицо первого свою неизгладимую печать. Казалось, один был зрителем, в безопасности сидевшим на береговой скале и наблюдавшим бушующие под ногами воды, правда, с любопытством и сочувствием, но без возбуждения и тревоги; другой был сильным пловцом, отважно сражающимся с волнами, грудью сходящимся с ними, осторожно защищающим свою жизнь, с осознанием опасности, с верой в свою силу и без всяких сомнений в победе.

Изредка, впрочем, под влиянием противоположных чувств, смирявших одного и воодушевлявших другого, между ними проявлялось семейное сходство, но в состоянии спокойствия не могло быть двух более несходных лиц, не могло быть двух характеров до такой степени противоположных, как у христианина и иудея.

Когда Эска увидел воинственную наружность Элезара, он заметил в его глазах оттенок подозрительности при взгляде на чужого человека. От него не ускользнуло и инстинктивное движение старика, когда тот схватил только что поставленную трость, как будто для того, чтобы поднять ее на врага, приготавливаясь к защите или нападению. Подобные жесты выразительнее целых книг говорят о характере и обычаях человека.

Между тем Калхас поспешно объяснил своему брату причину присутствия их гостя, а Мариамна, по-видимому очень боявшаяся своего отца, торопливо, еще с большей живостью, чем прислуживая рабу, поставила перед ним вино и пищу.

Еврей поблагодарил своего нового друга за то, что тот сделал для его дочери, в немногих, кратких, но полных сердечности словах, как храбрец, выражающий свою благодарность такому же храбрецу. Затем он начал есть и пить с аппетитом, делавшим честь его физической силе и свидетельствующим о его крепком телосложении и долгом воздержании.

Выпив длинными глотками и не предлагая гостю кубок, который он держал в руках, Элезар предложил ему последовать его примеру. Калхас воспользовался этим моментом, чтобы спросить у своего брата, как он окончил дела, удерживавшие его весь день вне дома.

– Худо, – отвечал тот, метнув из-под своих густых бровей пронизательный взгляд на бретонца. – Худо и медленно, впрочем, нельзя сказать, что я ничего не добился и не сделал ни одного шага к той цели, к какой стремлюсь. Во всяком случае, я походил сегодня по высоким местам, повидал тех пьяниц и откормленных обжор, которые являются слугами прихотей цезаря, и говорил с этой гнусной пантерой, поверенным Веспасиана, который обладает хитростью хищного зверя, как, несомненно, обладает и его низостью и блестящей шкурой. Но пусть он побережется: руки, более слабые, чем мои, один раз уже удавили зверя, еще более жестокого, чем он, соблазнившись ценностью шкуры. Пускай он будет настороже! Элезар-Бен-Манатем может с успехом бороться против трибуна Юлия Пластида!

Эска бросил быстрый взгляд на говорившего, услышав знакомое ему имя. Хозяин заметил этот взгляд.

– Ты его знаешь? – сказал он с гордой усмешкой, показавшей его белые зубы, блеснувшие под окладистой бородой. – Ну, так ты знаешь такого отважного, хладнокровного и опытного воина, как никто другой. Хотелось бы мне иметь несколько человек его закала, чтобы командовать нашими сикариями¹⁰. Но в то же время это такой человек, который не поколебался бы умертвить своего отца, лишь бы добыть золотую застежку на свою одежду. Я видел его на поле брани, видел его и в совете. Он отважен, хитер и изменчив в обоих случаях. Где ты видел его в последний раз? – прибавил он, бросив пронизательный взгляд на Эску и одновременно отдавая Мариамне приказание наполнить чашу чужестранца и свою собственную.

Это занятие всецело овладело вниманием бретонца. С величайшей беззаботностью он отвечал на просьбу хозяина и рассказал о своей утренней встрече с трибуном у дверей Валерии. Он едва обратил внимание на то, с какой заботливостью отец отметил это имя в своей записной книжке, потому что в эту минуту белая рука девушки оперлась на его плечо и почти коснулась щеки.

В самом деле, для Элезара было в высшей степени важно собрать сведения, откуда бы они ни шли, относительно различных влияний на людей, близко стоящих к власти, с которыми он находился в ежедневных сношениях. Положение, занимаемое им, было из таких, которые требуют много мужества, такта, опытности и даже хитрости. Уполномоченный Верховным Советом Иерусалима, доведенного тогда до крайне печального состояния Веспасианом и его легионами, на тайные сношения с Вителлием, сильно не доверявшим победоносному полководцу, Элезар был воплощением надежд, опасений, земного и политического благосостояния и даже самого существования народа Божия. И казалось, нельзя было избрать лучшее орудие для этой цели. Хотя Элезар принадлежал к самым фанатичным и самым приверженным к обрядам своей религии евреям, однако он был человеком сильного и острого ума, непреклонной стойкости и настойчивости, которую не могла сломить никакая препона. Отличный воин, человек неоспоримой храбрости, он обладал верой в воинственный удел своего народа, с ужасом смотревшего на римское главенство и нежно лелеявшего мысль о всемирном владычестве, которое он завоюет от язычников силой меча. Строгость, с которой он соблюдал посты, обязанности и обряды своей веры, снискала ему расположение наиболее видных священников и фанатиков этой религии, где внешние формы были так точно предписаны и так верно соблюдаемы. Сверх этого, его независимое, вызывающее и непреклонное поведение по отношению к кому бы то ни было дало ему репутацию человека безусловно искреннего, оказавшую ему огромные услуги в тех интригах, в каких ему постоянно приходилось быть замешанным.

Но, в сущности, это был честный человек, по крайней мере в его собственном убеждении. В его глазах было законным всякое средство, лишь бы оно могло служить торжеству правого дела. Он был из тех людей, которые считают позорнейшей слабостью колебаться сделать зло, из которого может произойти добро. Как и Иевфай¹¹, он безжалостно принес бы в жертву свою дочь ради выполнения обета, и, если бы Мариамна оказалась между ним и его честолюбием или хотя бы просто мстительностью, он зверски посягнул бы на тело своего ребенка.

Сведущий в преданиях своей фамилии и в истории своего народа, он был полон той гордости своей генеалогией, которая составляет одну из основных черт еврейского характера. Он был убежден, что его народу предназначено судьбой управлять всей землей. Больше, чем следовало бы, он обладал тем надменным самодовольством, которое заставляло фарисея держаться в стороне от людей с невысокими стремлениями и скромными планами, и одновре-

¹⁰ *Сикарии* – правильно организованная шайка наемных убийц, образовавшаяся в Иудее перед осадой Иерусалима. Распространившись в Палестине, они возбуждали народ на мятеж и грабили дома тех, кто признавал власть римлян.

¹¹ *Иевфай* – судья иудейский (1243—37 до Р. Х.), покоривший аммонитян и ефраимов. Вступая в решительную битву с аммонитянами, Иевфай, как известно, дал обет: в случае победы принести в жертву Богу первое живое существо, какое выйдет ему навстречу из дома. По возвращении с победы он встретил прежде всех свою дочь, приветствовавшую его. Верный обету, Иевфай посвятил ее Богу.

менно отвагой и энергией льва от Иуды, столь ужасного в своем гневе, столь неукротимого даже после поражения. В глубине души он уже заранее наслаждался тем временем, когда Иерусалим сделается владыкой, римские орлы будут изгнаны из Сирии, а избранный Богом народ снова будет управляться богоучрежденной иерархией. Ему хотелось бы быть вторым Иудой Маккавеем, в качестве вождя руководящим верными войсками в том новом порядке вещей, какой наступал, – и это было честолюбивой мечтой, которую мог естественно лелеять этот опытный и предприимчивый воин. Но, отдавая Элеазару полную справедливость, следует сказать, что желание обогатиться лишь отчасти примешивалось к его планам, и личный интерес никогда не загрязнял его мечтаний о будущем, в которое так часто его увлекал опасный и мрачный энтузиазм.

Интриговать при дворе Вителлия против полководца, пользовавшегося верховной императорской властью, по крайней мере, было весьма нелегким поручением. Элеазар играл в случайной игре, получив полную власть и предписания от Иерусалимского Совета, с правом пользоваться или не пользоваться ими, сообразно со своими политическими видами и будущими планами.

Нелегко было выдерживать свою роль перед такими людьми, как Плацид, привыкший бороться хитростью, лукавством и двойственностью. Но еврей вступил в эту опасную борьбу с той сдержанной энергией и той холодной, рассчитанной отвагой, которая составляла суть его характера. Новый кубок благородного ливанского вина послужил скреплению знакомства с гостем, и Элеазар с большим тактом сумел вызнать у бретонца все сведения, какие только тот мог дать относительно обыкновений и обхождения его противника – трибуна, делая вид, что просто продолжает любезный разговор хозяина со своим посетителем. Несмотря на то что Эска часто был рассеян благодаря Мариамне, его ответы были чистосердечны и откровенны, как и его характер. Он сам не очень любил Плацида и питал к трибуну ту инстинктивную антипатию, каковую чувствует честный человек к пройдохе.

Тем временем Калхас снова взял свой манускрипт, на который его брат изредка кидал презрительные взоры, хотя читающий был для него лицом, больше всех любимым и уважаемым на земле. Мариамна, занятая различными хозяйственными делами, украдкой взглядывала на красивое лицо и изящный стан своего избавителя и казалась очень счастливой вследствие его присутствия. На мгновение их глаза встретились, и еврейка покраснела до ушей. Между тем время быстро шло, наступала ночь, ливанское вино подходило к концу, и Эска поднялся, чтобы проститься со своими хозяевами.

– Ты оказал мне редкую услугу, – сказал Элеазар, опуская в то же время руку за пазуху и вынимая из-под своей грубой одежды весьма дорогой камень, – такую услугу, за которую нельзя воздать ни подарками, ни словами благодарности. Но все-таки я прошу тебя хранить эту драгоценность на память об еврее и еврейской девушке, происходящих от народа, не умеющего ни извинять неправды, ни забывать благодеяния.

Эска покраснел, и печальное, почти гневное выражение появилось на его лице, когда он отвечал:

– Я ничего не делал ради того, чтобы заслужить благодарность или награду. Отбросить прочь евнуха или защитить женщину в таком городе, как наш, не заслуживает ни той, ни другой. Пожалуйста, возьми назад свою драгоценность. Всякий другой человек на моем месте сделал бы то же самое.

– Да, но всякий другой не сделал бы этого так успешно, – отвечал Элеазар, окинув одобрительным взором мускулы своего друга. В то же время он спрятал драгоценность за свою одежду, не показывая вида, что отказ ему неприятен.

Без сомнения, старик охотно отдал бы эту безделушку, но, как только оказалось, что Эска в ней не нуждается, он предназначил ее для иного употребления. Драгоценные камни и золото всегда нашли бы себе место в Риме.

– По крайней мере, позволь мне дать тебе охранный лист, чтобы ты мог возвратиться домой, – прибавил он. – Теперь поздняя ночь, и я буду неспокоен, потому что ты можешь пострадать за то, что сделал для нас.

На этот раз Эска засмеялся. Гордый своей силой, он считал невозможным, чтоб ему пришлось нуждаться в чьем-либо покровительстве или помощи. Он распрямил свои широкие плечи и вытянулся во весь рост.

– Я не хотел бы никакого другого развлечения, – сказал он, – как схватиться с дюжиной таких людей! Я сам – воин неизвестной вам страны, расположенной очень далеко от Рима, страны гораздо более прекрасной, чем эта, покрытой зелеными равнинами и лесистыми холмами, где чистые ручейки тихо стремятся в море, где высятся дубы и благоухают цветы, где мужчины сильны и женщины прекрасны. В долгие летние дни я охотился там пешком, от восхода до заката солнца. С мечом в руке я боролся против завоевателя с того самого дня, когда моя рука сделалась достаточно сильной, чтобы извлечь меч из ножен, и вот что привело меня сюда. Ты сам воин... Я вижу это по твоим глазам... Ты можешь понять, что мои руки ослабевают от бездействия, а сила исчезает от недостатка воинских упражнений. Правду сказать, мне кажется, что один шум черни на улице заставляет kloкотать кровь в моих жилах!

Мариамна слушала его с полуоткрытыми устами и блестящими глазами. Она близко принимала к сердцу все, что говорил он о своем далеком семейном очаге, лесистом местечке, окружавшем его, о лесах, благоуханных цветах и прекрасных женщинах его родной земли. Она чувствовала в себе необычайно сильное расположение к этому юному и отважному чужестранцу, оторванному от своих родителей и своей земли, приписывала этот интерес, возбуждаемый им, жалости и признательности и несколько удивлялась пылкости своих чувств.

– Ну, будь здоров, – сказал Калхас, подняв голову. – Послушайся совета старика: не бей никого, кроме как защищаясь. А затем, заметь поворот, какой улица делает по направлению к Тибру, чтобы тебе можно было снова отыскать дорогу в наше бедное жилище.

Эска обещал непременно прийти вновь, готовый в душе сдержать свое обещание.

– Еще один кубок вина, – сказал Элеазар, выливая остатки из бурдюка в золотой кубок, – такого вина не может производить солнце Италии.

Но благородное произведение Ливана было слишком приторно для мощной комплекции юноши и не могло утолить его жажды. Эска попросил чистой воды; в ответ на это Мариамна принесла амфору и сама дала ему напиться.

Во второй раз их взоры встретились, и хотя они оба тотчас же отвели их в сторону, однако бретонец почувствовал, что на этот раз он осушил кубок гораздо более охмеляющий, чем все вина Сирии, кубок, заставивший его забыть и прошлое, и будущее и сосредоточить все его чувства на радости этой минуты. Он забыл о том, что был варваром, забыл, что был рабом, забыл обо всем, кроме Мариамны и ее глубокого, просительного взора.

Глава IX Римлянин

Пора выяснить ненормальное положение, занимаемое Эской в столице мира, и сказать, каким образом молодой, благородный бретонец (таково, действительно, было его положение в родной стране) оказался рабом на улицах Рима. Для этого нам нужно бросить взор во внутренние помещения дома патриция в час ужина и, быть может, проникнуть в думы господина, который в вечерней прохладе прогуливается под колоннадой, погруженный в свои мысли и воспоминания.

Его дворец величествен и громаден, но все украшения и детали носят отпечаток суровой простоты вкуса. По окружающим человека предметам наблюдатель мог бы угадать его самого. В вестибюле высятся колонны ионического стиля, и их резные капители отделаны настолько, насколько позволяет этот стиль. В вестибюле меньшего размера, ведущем во внутренние покои и порученном охране собаки, изображенной мозаикой на паркете¹², нет ни величественных скульптурных изделий, ни каких-либо орнаментов и единственное украшение – это удивительная чистота белой стены. Двери сделаны из бронзы, так прекрасно отполированной, что нет никакой нужды в золотых или серебряных инкрустациях для усиления блеска, а в главной зале, где принимают друзей и клиентов и обсуждают дела, вместо фресок или каких бы то ни было блестящих украшений стены просто покрыты плитами белого отполированного мрамора. Свод очень высок и величественно поднимается до круглого отверстия, находящегося наверху, через которое видно небо; около водомета, устроенного непосредственно ниже, стоят четыре колоссальные статуи, олицетворяющие стихии. Эти последние, вместе с длинным рядом бюстов знаменитых предков, являются единственными скульптурными произведениями, находящимися в покоях. Роскошно обставленная обширная столовая открывается по одной стороне центрального зала, и все, что можно здесь видеть, говорит о большой изысканности жизненных удобств и утонченности. Стены украшены фресками, представляющими сцены из военной жизни, и на одном краю видна арматура, составленная из смертоносных орудий и доспехов, образующих в общей сложности блестящий трофей. Фиалы и чаши из полированного золота, из которых некоторые украшены и осыпаны драгоценными камнями, расставлены на полках. Но видно, что сегодня вечером не ждут никакого гостя, потому что около небольшого дивана, стоящего у стены, поставлен только маленький столик, покрытый белой скатертью, и на нем стоят только одна тарелка и серебряный массивный кубок. Этот стол ждет самого господина дома. Последний прогуливается взад и вперед под колоннадой, видя мысленным взором лесистую, зеленеющую долину, орошаемую светлым источником и дышащую свежей прохладой, благовонными испарениями и дикой, сладострастной красотой далекой Бретани.

Двадцать пять лет! И однако ему кажется, что это было только вчера. Его лоб покрыт морщинами, в волосах показалась проседь, силы уходят, энергия ослабевает, мозг теряет свою бодрость, чувства притупляются, но сердце не стареет. Дела, честолюбие, наслаждения, опасности, обязанности, препятствия, успехи наполняли эту четверть века и прошли как сон, но воспоминание о пожатии руки и выражении лица пережили все это. Кай Люций Лициний, римский патриций, полководец, претор, консул, прокуратор империи, на минуту становится молодым вождем легиона, перед которым лежит целый мир и подле которого любимая женщина. Вот что часто видит он во сне и в своих ежедневных мечтаниях.

¹² По старинному обычаю, римляне делали на пороге домов мозаичное изображение собаки с подписью «save canem» – бойся собаки. Этот обычай не чужд был и грекам.

Далеко в небо уходит старый дуб; около него стелется нежный и ровный, как бархат, дерн; тонкий папоротник гнется и лепечет под дыханием летнего ветерка; по поверхности синего неба бегут облака, и грациозная красавица, в белой тунике, нерешительным шагом, внимательно всматриваясь вперед, с боязливыми жестами, робко идет через лужайку на свидание с любимым ею римлянином. Наконец она в его объятиях. Ее длинные темные кудри рассыпаются по его доспехам, и в его глаза она устремляет свои большие голубые очи, сверкающие любовным светом, который только раз в жизни заставляет трепетать сердце мужчины.

Конечно, эта победа не из тех, какими можно пренебрегать. Эта женщина находится в полном расцвете красоты. Ее формы достигли округленности, и благородное лицо отличается прелестным цветом, свойственным ее нации. Она мужественна и постоянна и обладает той обольстительностью, которая делает ее и властной и жизнерадостной. Бывают женщины, умеющие вкрадываться в сердце мужчины, завладевать им и, так сказать, насыщать его своим влиянием.

Testa semel imbuta diu servabit odorem.

Сосуд, содержащий какую-нибудь редкую и драгоценную жидкость, навсегда сохраняет ее запах, и даже после того, как из него вытекла последняя капля и он наполнен другой влагой, прежнее благовоние странным образом сообщается новой. Она из таких женщин, и он знает это слишком хорошо.

Казалось, у дочери бретонского вождя и у римского завоевателя не должно было бы быть ничего общего, но вот заключается перемирие между двумя народами, перемирие, под которым таится раздор, готовый резко проявиться при первом случае. Благодаря этому обстоятельству молодым людям суждено было случайно видеться до той поры, пока их любопытство не перешло в чувство заинтересованности, интерес в дружбу, а эта последняя не превратилась в любовь. Не скоро сдалась бретонская девушка: много слез тайно пролила она и мужественно боролась со своим сердцем, но, почувствовав себя побежденной, отдалась так, как отдаются женщины ее натуры, – всецело и безвозвратно. Она жила для него, для него пошла бы на смерть, за ним последовала бы на край света.

Лициний обожал ее, как мужчина обожает женщину, предназначенную сделаться его жизненным уделом. Большинство людей испытывало это безумство, это умопомешательство или сумасбродство, каким бы именем его ни называли. И они никогда не позабудут этого времени! Увы, быть может, тот бутон, расцвета которого они ожидали, никогда и не распустился, по крайней мере для них. Его подточил червяк, сорвал на землю холодный ветер или торжествующая рука унесла, чтобы обрадовать сердце другого. Но когда снова наступает майское утро, они опять мечтают о прекрасном цветке, печально посещают прекраснейшие земные сады, томясь неизгладимым воспоминанием и отлично чувствуя, что их цветка там нет.

Держа в своих объятиях бретонскую девушку, Лициний говорит с ней об их общем счастье, наслаждаясь блеском дня, мечтая о будущем, когда им можно будет всецело отдаться друг другу, не думая о том, что этот день уже не повторится завтра. Однако минутами вздох поднимает грудь молодой девушки, как будто в эти счастливые минуты ее томит какое-то предчувствие надвигающейся бури. А он полон надежды, радости и юношеского пыла, радуется ее нежности и счастлив своей победоносной любовью.

В этот вечер они разошлись с большим, чем обыкновенно, сожалением. Они прогуливались вокруг дуба, всякий раз отыскивая новый предлог для каких-нибудь любовных речей, для какой-нибудь новой ласки. Когда наконец они отделились друг от друга, Лициний еще много раз оборачивался назад, чтобы снова увидеть силуэт той, которая уносила с собой все его надежды, все его счастье! Ему не приходило и в голову, где и как ему придется свидеться с Генеброй.

Медленно протекли десять лет. Предводитель легиона сделался полководцем. Лициний отличался в Галлии, Испании, Сирии. Все говорили, что жизнь его была прекрасна, но – стран-

ная вещь! – в то время как в совете он выказывал рассудительный ум и отличался осторожностью и терпеливостью опытного полководца, его личное поведение казалось замечательным вследствие полного пренебрежения опасностью, какое в простом воине назвали бы безрассудством. Замечали также, что глубокая и удручающая меланхолия овладела жизнерадостным патрицием. Его прежний характер проявлялся не иначе как только в минуту неизбежной опасности, в сумятице обороны или в пылу атаки. В иное время он был молчалив, уныл, сосредоточен, хотя сердце его всегда оставалось чутким к чужой печали и воины легиона знали, что их полководец был другом всякого страдающего. Часто был он предметом их вечерних бесед около лагерных костров. Честные ветераны дивились тому, что этот так славно сражавшийся человек был так печален за столом, что этот солдат, под градом стрел останавливавшийся зачерпнуть своей каской воды из ручья и, с усмешкой на губах, медленно выпивавший ее, отказывался от удовольствий и выказывал столько отвращения к материальным наслаждениям, составлявшим для них величайшие радости жизни.

Старый центурион, сопровождавший его от Темзы до Евфрата и от пределов Паннонии до Геркулесовых столбов, утверждал, что он никогда не видел своего вождя смущенным, кроме одного раза, когда в награду за его подвиги ему были оказаны триумфальные почести на улицах Рима. Ветеран говорил, что ему никогда не забыть ни выражения лица, увенчанного лаврами, ни уныния этого человека, на которого были устремлены все очи. В своей золотой колеснице он являлся предметом уважения целого города и в этот день не имел выше себя никого, кроме... Цезаря. О, бесспорно, это был прекрасный триумф! Добыча была богата, колесница великолепна, народ испускал крики радости, и жертвы падали около алтарей. Но что значила эта слава без Генебры? Глаза героя не могли мирно остановиться ни на одном устремленном на него лице, потому что среди них он не видел прелестной головки, обрамленной прекрасными темными волосами.

В ту самую ночь, когда Лициний и Генебра разошлись, долго подготовлявшееся восстание наконец разразилось среди побежденных, но еще не сдавшихся островитян. Только хладнокровие и отвага молодого предводителя да удивительная дисциплина воинов легиона могли спасти римский лагерь. Задолго до наступления дня Генебра была увезена своими далеко от битвы, и бретонцы скрылись в своих лесах, природных убежищах, недоступных для правильно организованных войск. Снова вся страна оказалась на военном положении. В скором времени последовали решительные меры. Римский полководец Публий Острый, следуя плану, удерживавшему его армию от военных действий, послал Лициния с его легионом на другую сторону острова, и, несмотря на все свои усилия и влияние, молодой офицер не в состоянии был получить никакой вести о Генебре. С этого времени та перемена характера, которая так сильно удивляла его солдат, ясно обозначилась в Лицинии.

Протекло десять лет блистательных и счастливых походов, прежде чем он снова вернулся в Бретань. Нерон только что облекся в порфиру и еще не успел сделаться тем чудовищем бесстыдства, каким стал позднее.

Способности императора до того дня, когда их изгладили его страсти, не были заурядными. Он избрал Лициния как образцового солдата и доверил ему важный пост в той стране, которая уже была тому знакома. С радостью принял Лициний это управление: несмотря на превратности времени и судьбы, он не забыл своей любви. Под палящим небом Сирии, на окоеванных льдом берегах Дуная, и в родной, и в чуждой стране, и в мирное, и в военное время – воспоминание о Генебре всюду сопровождало его, и он все так же любил ее, все так же был ей верен, как в тот день, когда они говорили слова прощанья под старым дубом. Пылким желанием его было увидеть ее снова, хотя бы один раз. Его мольба была услышана: они увиделись.

Только что было подавлено восстание за Триентом. Римский авангард внезапно застиг бретонцев и вынудил их бежать в беспорядке, бросив свои пожитки, богатства и даже оружие, когда Лициний пришел со своей главной армией, он не нашел пленников, но только значитель-

ную добычу, которую караулили несколько солдат. Один из трибунов приблизился к нему со списком захваченных предметов, и, когда полководец пробежал его, офицер выказал колебание, как будто желая еще что-нибудь прибавить.

– Больше не остается ничего, – сказал он наконец, – кроме одного шалаша, стоящего за вражеской границей. Я не хотел отдавать приказания разрушить его, прежде чем похоронят находящийся там труп.

В эту минуту Лициний был занят исчислением взятого в плен оружия.

– Труп? – беззаботно спросил он. – Чей же? Их главного вождя?

– Нет, это тело женщины, – отвечал трибун, – женщины благородной и прекрасной, несомненно жены какого-нибудь князя или вождя.

Благодаря Генебре все женщины, и в особенности женщины Бретани, были для Лициния предметом уважения и интереса.

– Иди, – сказал он, – я дам мои приказания, когда увижу ее.

И полководец последовал за своим офицером в указанное место.

Это был грубый шалаш, сделанный из нескольких наскоро сложенных балок и веток. По-видимому, его строили торопливо, и, по всей вероятности, для того, чтобы дать укромное местечко очень тяжело больной. Через широкое отверстие в крыше летнее солнце бросало внутрь свои лучи и озаряло труп.

Тело было покрыто белым платьем, брачной одеждой, которую этой женщине дал тот, кто опустошил страну. Повязка из белой материи обрамляла ее лицо, и черные волосы были скромно разделены на две волны на спокойном, гладком и полном женственной нежности челе. Это было лицо Генебры в своей вечной неподвижности, лицо Генебры, столь похожее на нее и, однако, так резко изменившееся. Склонившись над умершей и всматриваясь в ее закрытые глаза, благородные и прекрасные черты, скованные рукой смерти, в ее уста, еще и теперь озаренные улыбкой любви, Лициний замечал, что на ее челе уже показывались морщины, в волосах проглядывало серебро, и думал о том, что, быть может, сожаления, воспоминания и грусть, вызванные его отсутствием, были причиной этих печальных следов.

Тогда горячие слезы брызнули из глаз солдата, и бремя, лежавшее на его сердце и душе, словно свалилось. Когда оружие вырвано из раны и кровь льется свободно, мучительная агония сменяется полной надежды покорностью, почти похожей на успокоение.

Он поцеловал этот похолодевший лоб и отвернулся. Больше ему не оставалось ничего желать, ничего опасаться.

Так еще раз Лицинию пришлось на земле подумать о своей любви.

Новые победы прославили его в Бретани. По возвращении в Рим он был героем нового триумфа, но, как и прежде, триумфатор казался нечувствительным к славе и, по-видимому, находил уже свою награду в той службе, какую нес. Только беспокойное, пламенное выражение его глаз исчезло. Он всегда был спокоен и бесстрастен, даже в момент битвы, даже во время триумфа. Всегда обладавший большой добротой, с виду он был суров и холоден. Он не вмешивался в интриги, не принимал участия в придворных забавах, но его меч по-прежнему служил Риму, и во многих случаях его хладнокровие и благоразумие поправляли ошибки и неспособность его коллег или предшественников. Судьба расточала свои дары на человека, не боявшегося ее превратностей, почести сыпались на воина, по-видимому, не придававшего им никакой цены. Кай Люций Лициний был человеком, которого больше всех уважали и кому менее всего завидовали.

Однажды, за несколько времени до смерти Нерона, проезжая через рынок рабов, чтобы выйти на форум, полководец случайно встретился со знаменитым торговцем невольниками по имени Гаргилиан, который неотступно просил его зайти посмотреть новый подвоз пленных, только что прибывший из Бретани. При имени этой страны в Лицинии немедленно пробудился интерес. Он склонился на просьбу купца и на родном языке рабов сказал несколько

слов сострадания несчастным варварам, ряды которых он обходил. Вдруг его внимание было привлечено одним из побежденных – юношей высокого роста и сильного телосложения, который, казалось, страдал более других от своего унижения, будучи вынужден сидеть на возвышенном помосте и благодаря своему высокому росту сосредоточивать на себе взоры всех. Он получил тяжкие раны, и рубцы от них еще не совсем зажили. Видно было, что если он попал в пленники, то только потому, что смерть не брала его.

Лицо его и выражение больших голубых глаз вызвали острую боль в сердце римского полководца. Странное влечение почувствовал он к этому юноше. И, остановившись подле него, он стал расспрашивать его со вниманием, не ускользнувшем от торговца.

– Мне следовало бы показывать его особняком, – сказал Гаргилиан тихим голосом, с важным и таинственным видом. – Один из моих покупателей прямо-таки хотел увести его, когда, достолюбезнейший и достопочтеннейший патрон, я увидел тебя и попросил остановиться. Рассмотрю его хорошенько. Он высок, молод и силен, тело у него здорово и сильнее, чем у гладиатора. Эти варвары – надо им отдать справедливость – железные люди и притом только что с корабля. Вглядись-ка, благородный полководец, и ты увидишь, что на их ногах еще следы мела.

– Но он изранен, – заметил Лициний, начиная смотреть на раба взглядом покупателя, что хорошо почувствовал торговец.

– Это пустяки! – воскликнул Гаргилиан. – Кой-какие ссадины, только коснувшиеся кожи и уже затянувшиеся. Еще неделя, и его уж здесь не увидишь. Сегодня дела идут плохо, иначе я спросил бы с тебя по крайней мере две тысячи сестерциев¹³ за него. Какую цену ни дай за этих островитян, все одно будет дешево.

– Я даю тебе тысячу, – спокойно сказал Лициний.

– Невозможно! – воскликнул купец, жестикулируя пальцами, чтобы придать большую силу своему отказу. – Благородный мой патрон, я на нем потерплю убыток. Ей-ей, мне хочется оставить его в живых, а то цезарь дал бы мне больше, кабы я отдал ему умереть в цирке. Взгляни на эти мускулы. Это такой человек, который сможет по крайней мере пять минут сопротивляться тигру.

Это последнее соображение произвело свое влияние. После недолгого спора раб-бретонец стал собственностью Лициния за полторы тысячи сестерциев, и Эска перешел к господину, который был лучшим и снисходительнейшим человеком в Риме.

Возвратимся теперь к этому последнему, задумчиво прогуливающемуся под колоннадой, на свежем и приятном вечернем воздухе.

Может быть, самым утешительным и милостивым даром Провидения является такое устройство ума человеческого, что он может по своему желанию вызывать прошедшие удовольствия легче, чем скорби. Пережитое горе, правда, дает чувствовать себя снова, иногда с жестокой силой и горечью, но с каждым разом воспоминание о нем становится менее ужасно, и мы, наконец, приходим к тому, что думаем о прошлых страданиях с тем святым и искренним смирением, какое является первым шагом к безропотности и миру. Наоборот, воспоминание о большом счастье, по-видимому, столь близко слито с нашим бессмертием, что ни время не уничтожает его силы, ни отдаленность не ослабляет его сияния. Гнев, скорбь, ненависть, борьба проходят, как сновидения, но улыбка, обрадовавшая нас, подобна лучам полуденного солнца. Нежные слова, сказанные нам и успокоившие наш ум, всегда возвращаются в наше сердце с веянием вечернего ветерка; эти слова кажутся нам столь же очаровательными и нежными, как и прежде, и мы чувствуем, что в то время как преступление, слабость и угрызения совести являются случайными огорчениями человечества – прощение, надежда и любовь составляют его вечное наследие.

¹³ *Сестерций* – *sestertius*, мелкая серебряная римская монета, в четверть динария.

Прохаживаясь по длинной колоннаде, Лициний не думает о своей тоске, разлуке и былых печалях, не думает о том, что его драгоценнейшее сокровище было потеряно им и, может быть, стало предметом обладания другого; не вспоминает виденного им покойного и холодного лица, окруженного льняной повязкой. Нет, он все еще в Бретани, с той, кого он любит, под зеленоющим навесом, где наклоняющиеся к земле папоротники лепечут подле старого дуба...

Шум шагов, послышавшихся из внутренних покоев, нарушает его размышления, и на устах полководца появляется серьезная и добрая улыбка при виде подходящего к нему его любимого раба.

Патриция можно угадать по наружности. Это бывалый воин, загоревший и закаленный в многочисленных походах, под небом разных стран. Он еще не пережил время расцвета телесных сил, и черты его лица запечатлены суровой красотой, его борода и волосы, уже посеребренные проседью, еще сохраняют необычную привлекательность. Валерия, понимающая в этом толк, утверждает, что он есть и всегда будет красавцем. Она его весьма уважает, даже любит, и он – единственный человек, суждением которого она дорожит. Словом, хотя она не хотела бы признаться в этом даже себе самой, она несколько боится своего храброго и благородного родственника.

Мужчина, достигший зрелых лет, не будучи связан семейными узами, всегда оказывается в некоторой степени в ложном положении. Нет такого общественного интереса, который бы мог заполнить изгибы и тайники сердца, предназначенные природой для забот, удовольствий и неприятностей домашней жизни. Далекий от постоянного общества, от ежедневных сношений с женой и детьми, – холодный характер делается эгоистичным и мрачным, а мягкий – меланхолическим и угрюмым.

Чего-то недоставало в существовании Лициния, и он еще не нашел ничего, что могло бы заполнить эту пустоту. И часто он спрашивал самого себя, как случилось, что варвар-раб оказался единственным существом в Риме, к которому он испытывал чувство хоть какого-нибудь интереса.

Когда перед ужином он уселся на своем диване, Эска начал разливать. Патриций не мог воздержаться от мысли, что он счел бы за счастье иметь такого сына, высокого и красивого, с таким воинственным видом – сына, которому бы он мог дать наставления о тайнах своей профессии, развивать его ум, направлять склонности и с радостью и любовью заботиться о нем.

Непринужденный разговор начинается между ними, пока полководец занят своим умеренным ужином, состоящим из яиц, куска козленка, винограда и бутылки обыкновенного сабинского вина. Эска рассказывает своему господину о своей схватке в прошлую ночь и о своем новом знакомстве, завязавшемся вследствие этого происшествия. Рассказ об этой стычке заставляет хохотать Лициния, которого очень веселит полнейшее поражение внуха.

– Ну, мне хотелось бы верить, – говорит он, – что он тебя не признает. Ты так легкомысленно поступил не с кем иным, как со Спадоном, а в настоящее время Спадон – один из самых больших любимцев цезаря. Мне было бы трудно защитить тебя, если бы он открыл твое местопребывание, потому что в его руках наговоры и снадобья – более страшное оружие, чем меч и копье в твоих. Как ты думаешь, Эска: заметил он тебя, прежде чем ты его повалил на землю, или нет?

– Я думаю, что нет, – отвечал Эска. – Ночь была темная, а суматоха страшная... Притом я тотчас же убежал с несчастной девушкой, схваченной ими, как только вырвал ее у толпы.

– И ты говоришь, что видел этих евреев в их доме? – серьезно продолжал Лициний. – Я слышал много разговоров об этом народе и даже сам выступал против него в Сирии. Не правда ли, что это жестокие, жаждущие крови люди? Говорят, что они убийцы и едят детей. Правда ли, что они предаются гнусным оргиям, где употребляют человеческое мясо, посвящают один день недели уединению, молчанию и обдумыванию человеконенавистных планов против рода человеческого? Уверен ли ты, что твои знакомцы принадлежат к этому народу?

– Они христиане и иудеи, – ответил Эска, слышавший первое из этих слов в своей беседе с Калхасом.

– Что же, это одно и то же? – спросил Лициний.

Но на этот вопрос раб ответил молчанием.

Глава X Трибун

Под портиком одного из роскошнейших городских зданий, при слабом свете утра столкнулись двое мужчин. После обмена резкими словами они признали друг друга, и звонкий хохот раздался в ту минуту, когда Дамазипп и Оарзес, вольноотпущенники и верные клиенты Юлия Плацида, явившиеся сюда с целью предложить свои пылкие услуги их общему патрону, рассмотрели один другого. Они покинули свое ложе еще до рассвета и торопились прийти первыми, чтобы приветствовать трибуна по его пробуждению. Однако они нашли большую залу уже переполненной многочисленной толпой друзей, спутников, клиентов и слуг. Дамазипп был маленький, низкорослый, но дюжий человек, с густыми бровями и угрюмым взглядом; бледный и молчаливый Оарзес казался несколько педантичной личностью; но, несмотря на это различие во внешности, на них обоих лежала печать наглой беззастенчивости и пошлости. Пожав плечами, с видом напыщенного отвращения Дамазипп сказал Оарзесу:

– Ну, теперь нам придется ожидать целые часы, прежде чем можно будет подойти! Взгляни на эту презренную толпу паразитов и льстецов. Они не постеснялись бы идти за патроном в баню и осаждают его до самой постели. Эх, друг мой! В Риме становится невозможно жить порядочным людям!

На это Оарзес отвечал кротким и смиренным тоном:

– Мухи кружатся около меда, привлекаемые только приманкой добычи. Но нас с тобой влекут к славному трибуну только признательность и расположение.

– Это верно, – согласился Дамазипп. – Печально видеть, что так мало клиентов, не руководимых каким-нибудь грязным и низким побуждением. Честный человек становится в Риме такой же редкостью, как и в Афинах. Ах, не то было во времена республики, в золотой век, в доброе старое время.

– О, да! В доброе старое время! – воскликнул Оарзес все тем же тихим и монотонным голосом.

– Да, да! В доброе старое время! – как эхо отозвался Дамазипп.

И оба плута, положив руки на плечи друг другу, начали ходить вдоль залы, обмениваясь презрительными замечаниями о собравшихся в ней людях.

Помещение трибуна было совершеннейшим в своем роде. Стоявшее особняком и окруженное стеной и частным садом, оно соединяло пышность дворца с удобствами и изолированностью частной резиденции. Все, что искусство могло найти драгоценнейшего и великолепного, было совмещено в доме Плацида. Замечательнейшие предметы украшали стены его комнат, образуя на них живописные группы, или были рассеяны по полу. Спальня его была обита ярко-красным вышитым шелком, вывезенным из недр Азии и, без сомнения, представлявшим добычу, захваченную этим счастливым солдатом. Залы были удивительно изящно устланы мозаикой, изображающей фантастические рисунки и инкрустированной золотом.

С наступлением дня масса народа толпилась в его прихожей. Ни к одному лицу, равному по положению с Юлием Плацидом, не стекалось в утренние часы так много народа. В теснившейся у него толпе можно было видеть людей всевозможных стран, классов, характеров и профессий, столь же различных, как и их наименования. Не представляя в этом отношении сходства с Лицинием, который был обязан своим влиянием единственно прямоте своего характера, трибун не упускал никакого случая привлечь к себе нового сторонника узами корысти или надежды. Эти последние теснились у широко раскрытых дверей, и, в то время как обширная зала уже была переполнена, подъезды и даже улица еще были загромождены льстецами, явившимися к нему со своими просьбами и ходатайствами и возлагающими на него свои надежды. Там художник принес патрону свою картину. Хотя она и была тщательно завернута в старое

платье, однако один лакированный угол ее был не вполне закрыт, и живописец, очень счастливый этим обстоятельством, решался в конце концов, после горячих просьб, показать постепенно все красоты своего произведения. Дальше скульптор бережно охранял от толчков соседей свою модель, завернутую в мокрые тряпки, что придавало какую-то таинственную красоту его произведению, которое, однако же, жестоко обмануло бы глаза тех, кто с таким любопытством рассматривал его, если бы оно было совершенно открыто. В углу стоял ювелир, держа в руке богатое ожерелье из жемчуга и рубинов, приготовленное по приказанию патриция и одновременно говорящее и об искусстве мастера, и о великолепии его патрона. В другом углу раб с подслеповатыми глазами и болезненным лицом напускал на себя важность и, казалось, вслух говорил о своей уверенности добиться аудиенции раньше всех, что было и в самом деле правдоподобно ввиду тех новостей, какие он принес от продажной красавицы ее поклоннику, платившему ей золотом свою, всегда желанную дань. В центре комнаты нахально толкались паразиты и льстецы, как будто они имели право быть здесь, тогда как честные люди, загрязненные от работы и дышащие воздухом Тибура и Пренесты, стыдливо и робко держались в стороне несмотря на то, что они пришли сюда не за чем иным, как за получением своей заслуженной платы. Вблизи обшивки, замыкавшей спальню, дождался грязный раб, весь покрытый отбросами рыбного рынка и издающий такой сильный запах чеснока, что даже в римской толпе он мог бы благодаря этому занять почетное место. Но пройдоха сознавал силу своего ума и знал, как приобрести благоволение трибуна. Он принес немаловажную новость о поимке в прошлую ночь мула, весящего около шести ливров. Столь благородный патрон, как Пладиц, должен сделать первое предложение купить его по тысяче сестерциев за ливр. Устремив глаза на портьеры, раб поджидал патрона, не обращая внимания на шумный разговор и на беспорядок, царивший в прихожей.

Вдруг толпа расступилась и дала дорогу трем мужчинам, провожая их боязливymi и почтительными взглядами. Взглянув раз на широкую грудь и мощные плечи одного из них, нельзя было не узнать их владельца, но если бы и возникло сомнение, то громкий голос, каким гладиатор Гирпин привык высказывать свои замечания, без уважения к кому бы то ни было, устранил бы всякие сомнения. Его сопровождали два лица, принадлежащие к той же профессии: учитель фехтования Гиппий и кулачный боец Евхенор. Все трое шумно говорили и смеялись. Видно было, что даже в этот утренний час они нарушили пост не без кой-каких возлияний благородного вина.

– Не говори мне про это! – говорил Гирпин, распрямляя свои мощные плечи и довольный тем вниманием, какое он вызывал. – Не говори мне про это! Видал я их всех: и дакийцев, и галлов, и кимвров, и эфиопов, одним словом, всех варваров, которые когда-либо надевали латы. Клянусь Геркулесом, перед этим молодцом они совершенные ребята. Огромный германец, которого прошлым летом цезарь приказал бросить львам, не устоял бы перед ним на ногах и четверти часа. Он был больше, это, пожалуй, так, но форма... понимаешь ты, форма!.. Нет, у него не было такой формы! Ты меня, я думаю, не сочтешь за козленка, у которого только прорезаются рога, а меж тем в борьбе перчаткой он наделал мне таких хлопот, что я охотно бы оторекся от поставленной об заклад бутылки дрянного вина. Что ты думаешь об этом, любезный грек? Я думаю, что по-твоему это недурно для начинающего?

Сказав эти слова, он оглянулся на Евхенора, молодого, удивительно стройного человека, с необычайно здоровым телосложением, тонкими чертами лица, свойственными его соотечественникам, и неестественно злым выражением во взгляде.

Грек на минуту задумался, прежде чем отвечать, и затем сказал:

– Спокоен ли был ты, Гирпин, когда боролся с ним, или ты уже осушил бутылку вина, прежде чем вы начали испытывать ваши силы?

Собеседник разразился громким хохотом.

– Ну, братец, – сказал он, – все одно: пьян я или не пьян, ты так же хорошо, как и я сам, знаешь, из какого материала я сколочен, все равно, как и я отлично знаю твои кулаки и свойственную тебе ловкость. Я знаю то, чем ты обладаешь, хотя не понадобится очень большая мера, чтобы вместить все это. Слушай же, что я тебе скажу: мой бретонец проглотил бы такого, как ты, с мясом и с костями. Это так же верно, как то, что я буду пьян, как стелька. И он будет в состоянии повторить то же самое, даже не пополоскавши рта.

Зловещее выражение скользнуло по лицу Евхенора, которому не очень-то польстила невысокая оценка его силы и в особенности храбрости. Но он был по ремеслу кулачным бойцом и, в силу этого, обладал полнейшей властью над собой. Поэтому он только презрительно взглянул на начинавшую толстеть шею гладиатора.

– Я думаю, – сказал он, – что если этот человек таков, как ты говоришь, то на нем можно было бы заколотить много денег в амфитеатре, в особенности если бы он попал в хорошие руки да был по-настоящему обучен.

До этой минуты учитель бойцов почти не вмешивался в разговор и, казалось, даже едва улавливал его смысл, но последняя фраза привлекла его внимание, и он, с некоторой досадой обратившись к Гирпину, сказал ему тоном человека, привыкшего приказывать:

– Зачем же ты не привел его ко мне? Если ты упустил его меж своих толстых пальцев, то ты можешь похвастаться таким скверным делом, какое тебе уж давно не случалось делать. Смотри, Гирпин, берегись. Я видал, как люди и посильнее тебя запутывались в сеть, а ведь время великих игр не за горами. Довольно одного моего слова, чтоб завтра же тебе пришлось идти на арену и сделаться жертвой удара трезубца да нескольких саженой веревки. Ты это знаешь так же отлично, как и я.

Гиппий говорил правду. Отставной гладиатор, прославившийся своей ловкостью и числом побед, задолго ранее получил от Нерона деревянный меч, что было равносильно освобождению и льготе от всяких будущих выходов в амфитеатре. Но, привыкнув к горячке этой ужасной игры и находя удовлетворение своему самолюбию в той сомнительной славе, которая является отличительной чертой людей его звания, он открыл школу для образования борцов и пользовался таким благоволением при двух сменивших один другого императорах благодаря умению воспитывать своих учеников и таланту обставлять те ужасные церемонии, где выступали эти последние, что незаметно сделался непререкаемым авторитетом в своей сфере и получил имя главного распорядителя игр. Мы уже говорили о его славных любовных связях и о том странном обаянии, какое вообще эти люди производили на римских матрон. Но если его улыбки искали прекрасные зрительницы этих игр, то его слово было законом, которому повиновались гладиаторы. Он-то подбирал пары борцов, снабжал их оружием, произносил решающее суждение в их спорах – одним словом, играл огромную роль в их жизни. Угроза Гиппия была страшнее для этих жалких людей, чем удар копья или меча.

Что касается Гирпина, то, будучи искусным и отважным бойцом, он имел и свою слабую сторону. Однажды он выступил в цирке в качестве секутора, то есть борца, вооруженного мечом и шлемом, против рециария, единственными оружиями которого были трезубец и сетка. Он имел несчастье запутаться в складках этой последней и оказался во власти своего противника. Хотя римская публика была непостоянна в своих предпочтениях и неверна в своих антипатиях, но ввиду храбрости побежденного ему была оказана пощада. Однако Гирпин никогда не забыл чувств, пережитых им в эту минуту. Как он ни был смел и предприимчив, это воспоминание делало его боязливым, и этот блистательный и хвастливый боец бледнел при мысли о трезубце и сетке. Было что-то забавное в той покорности, с какой он встретил угрозу Гиппия. Он бросил на него умоляющий взгляд, каким смотрит собака на своего хозяина, и ждал скорого выполнения его угрозы.

– Потерпи, патрон! – проворчал он в свое извинение. – Я знаю, где найти этого молодца, и могу привести его, когда захочу. Я беру на себя привести его в школу. Скажу тебе и побольше:

я охрип от усталости и осушил две бутылки сабинского вина, уговаривая его полюбить наше ремесло и вступить в члены «семьи». Неужели ты, патрон, думаешь теперь, что я отпустил его, не осведомившись, где он живет. Это один из отпущенников или рабов, принадлежащих...

– Замолчи ты, бездельник, – гневно прервал Гиппий, заметив, что Дамазипп и Оарзес похаживают около них, подслушивая эту новость, которую он решил сам сообщить прямо и непосредственно в уши трибуна. – Нет нужды кричать об этом по улицам. Если бы у тебя было столько же ума, сколько силы, я бы мог объяснить тебе, почему это так, с некоторой надеждой на то, что ты меня поймешь. Но полно! Не теряй этого молодца из виду, а главное – держи язык за зубами.

Дородный гладиатор наклонил голову в знак повиновения, хотя и с некоторым неудовольствием, а двое отпущенников, сильно жестикулируя, с вежливыми приветствиями подошли к гладиатору с полным смирением и почтением, какого заслуживали эти сильные люди.

– Говорят, будто одновременно будет выставлено двести пар борцов, – заметил Дамазипп, разумея приближающиеся игры, – и прибавляют, что допущено будет только одно оружие – меч да шлем. Но, конечно, любезнейший Гиппий, ты знаешь это лучше нас.

– Говорят еще, что в то же время будут спущены три новых ливийских льва, – прибавил Оарзес, – и что сцена будет представлять пастухов, захваченных врасплох около своих огней. Толкуют даже, что там будут настоящие утесы, ручей, который потечет в амфитеатр, и роца из кустов, откуда выскочат звери. Говорят, славный Гиппий, что твой вкус – верх совершенства, и, ясное дело, что тут не обошлись без твоего совета.

Гиппий засмеялся таинственно и с некоторым оттенком презрения.

– Будет ливийский лев, – сказал он, – вот все, что я могу вам сказать: я видел, как еще вчера, после заката солнца, ему давали корм.

– Что же? Велик он?.. Силен?.. Свиреп? – в один голос спросили оба отпущенника. – Откуда он привезен и вполне ли взрослый? Морят ли его голодом?.. Будут ли вооружены пастухи? Без сомнения, их наберут из приговоренных преступников или из гладиаторов. Немаловажный вопрос: больших ли он размеров? В последний год, помнится, был тигр, растерзавший пятерых рабов-эфиопов, несмотря на то, что они набросились на него все сразу.

– Но они были безоружны, – прервал Евхенор, слегка побледнев. – Пускай-ка мне дадут оружие, я и один выйду на зверя.

– Ну, конечно, без оружия! – повторил Дамазипп. – Ведь и тигр тоже был без оружия. Это было красивейшее животное из всех, каких только я видел. Помнишь ты, Оарзес, как он вилял своим длинным хвостом и утирал морду своими лапами, словно собирающаяся играть кошка? Когда он бросился, первый эфиоп покатился, как мячик от удара. Я, братцы, был в пятом ряду и оттуда отчетливо слышал скрип его костей.

– Этот тигр – великая потеря, – заметил Оарзес более печальным, чем обыкновенно, тоном. – Его бы никогда не следовало выпускать на борьбу со слоном. Видя, как слон был вооружен, я сразу понял, что битва кончится не в пользу меньшего животного, и охотно дал бы что угодно, чтоб только он оказался победителем. Что поделаешь? Не везет этим красивым зверям!

– Он был побежден, господа, благодаря тяжести, – заметил Гирпин, – да, именно благодаря тяжести. Я вам сейчас покажу, что все дело тут в тяжести, кого ни взять – человека или зверя...

Но в эту минуту рассуждение гладиатора было прервано движением багряной завесы и появлением Плацида, который предстал своим посетителям во всем своем блеске и красоте, уже вполне одетый.

Трибун обладал по крайней мере одним неоспоримым достоинством, оказывающим огромные услуги человеку, выступающему на том поприще, где необходимы энергия и постоянная бдительность: у него был превосходный желудок – по пословице, удел людей с изворот-

ливой совестью и черствым сердцем. Хотя ужин предшествующей ночи был великолепен и очень продолжителен, застольный кубок беспрерывно переходил из рук в руки и гости, отуманив мозг вакхическими парами, успели открыть свой настоящий характер дальновидному и сохранившему трезвость хозяину – этот последний, освежив себя ночным отдыхом, казался полным здоровья, и глаза его блестели. В ту минуту, когда он, облаченный в белую тунику, стянутую золотой застежкой и усыпанную блестками, в плаще, украшенном широкой фиолетовой каймой, со старательно расчесанными и надушенными волосами и бородой окинул взором толпу своих клиентов и слуг, шепот удивления пробежал по собранию, искренний, по крайней мере в первые мгновения, и даже сами гладиаторы не могли удержаться от рукоплесканий этому человеку, одновременно и столь богато одетому, и столь сильному и изящному.

– Привет, друзья мои, – сказал трибун, останавливаясь на пороге и благосклонно оглядывая толпу.

– Привет тебе, господин! – отвечала толпа в один голос.

Плацид переходил от одного человека к другому, хотя и не без достоинства, но с той искренней сердечностью, какую он так хорошо умел напускать на себя, желая польстить низшим по сравнению с ним людям. Благодаря острому и проницательному уму он в невероятно короткий срок рассмотрел все накопившиеся дела: выразил изумление перед статуей, отказался от картины, купил драгоценную вещицу, дал ответ посыльному прекрасной просительницы и приобрел мула, послав слугу немедленно отыскать его на рынке. Только честным труженикам не пришлось уйти хотя бы наполовину удовлетворенными – вместо платы на их долю выпало только несколько улыбок. Затем он обратился к Гиппию, как будто для него не было в жизни ничего более интересного, как развлечения, вызнал у него сведения относительно обучения гладиаторов и сообщил планы касательно амфитеатра.

Гиппий знал себе цену и относился к патрицию, как равный к равному, но Гирпин и Евхенор, высоко ценившие влияние могущественного патрона, смотрели на Плацида с уважением и глубоким почтением.

– Но ведь все бойцы слишком хорошо известны, – говорил патриций учителю бойцов. – Вот, например, старый Гирпин, который двухфутовым булатом прикрывается так же хорошо, как будто у него полное вооружение, и ни на минуту не теряет из виду биений сердца своего противника. Другие почти так же сильны. В состязаниях с обыкновенными фехтовальщиками они неизбежно берут верх, и если мы выставим их друг против друга, то для удовлетворения народа, который хочет видеть льющуюся кровь, им надо завязать глаза, чтобы смерть их была делом случая. Нет, если кто нужен теперь, так это новый человек, которого мы обучим потихоньку, и пускай он выступит в качестве неизвестного соискателя императорского приза. Что ты скажешь на это, Гиппий? Теперь это единственное средство сделать игры интересными.

– По-моему, это дело решенное, – отвечал Гиппий. – У меня есть под рукой неизвестный смельчак, который в несколько недель упражнения сделается таким бойцом, каких и не видано, по крайней мере если верить Гирпину. Ну, рассказывай, старый троянец. Говори патрону, как ты наконец нашел того, кто тебя сильней.

Вызванный на рассказ, старый гладиатор пространно, не обращая внимания на многочисленные восклицания удивления Дамазиппа и Оарзеса, передал о своей случайной встрече с Эской и о своем испытании его силы и ловкости. Довольно болтливый всегда, когда ему удавалось найти слушателя, Гирпин сделался красноречив, говоря на такую благодарную тему, как красота и телосложение его нового приятеля.

– Господин, – начал гладиатор, – он силен, как бык, и изворотлив, как пантера. В то же время ноги, руки и глаза – все у него ходит, как у танцовщицы. Он разбегается, как дикая кошка, и падает легко, как олень. Много бы выиграл он на арене благодаря своему молодому,

красивому лицу и мраморной шее, которая делает его похожим на сына Пелея¹⁴. Если бы ему случилось быть побежденным, женщины всегда спасли бы его. Одна из самых прекрасных и благородных римских матрон уже велела остановить свою лектику посреди полной народа улицы и позвала его к себе не для чего иного, как для простой беседы. И при этом он казался таким же высоким, как либурийцы, несшие на своих плечах ее носилки, и еще вдвое красивее.

Красноречие атлета заставило трибуна расхохотаться, но Дамазипп, ни на минуту не сводивший глаз с лица своего патрона, заметил, что этот злой смех сделался злобнее, чем обыкновенно, когда речь зашла о либурийцах. От его внимания не ускользнуло и то, что в веселом тоне его прозвучали фальшивые нотки, когда он расспрашивал подробности о молодом Аполлоне и даме, на которую наружность последнего произвела такое сильное впечатление.

– Я знаю в лицо почти всех знатных матрон, – отвечал храбрый атлет. – Человек не может забыть лиц и взглядов, устремленных на него, когда на арене он занес острие своего меча над горлом противника, и приказывающих ему безжалостно идти своей дорогой. Но из всех лиц, виденных мной под веларием, нет ни одного, которое бы так бесстрастно следило за смертным боем, как невозмутимое и прекрасное лицо благородной Валерии.

– Она подобна луне, сверкающей в струях Анионского¹⁵ потока, – вставил Дамазипп.

– И напоминает звезды, отражающиеся в бурном Эгейском море, – издала подтвердил Оарзес.

– Она похожа только на самое себя, – сказал Гирпин, считавший свое суждение решительным там, где заходила речь о физической красоте, мужской или женской. – Это прекраснейшее лицо и красивейшая особа в Риме. Кто другой, но уж не я, мог бы обознаться, хотя я и видал только ее шею да руку в ту минуту, когда она приоткрыла занавеску своей лектики и была похожа...

Здесь Гирпин остановился, чтобы подыскать сравнение, и затем с торжествующим видом сказал:

– Была похожа на лезвие наполовину вынутого меча, который с шумом опускается в ножны.

Дамазиппу снова показалось, что дрожь пробежала по лицу его патрона, и было что-то крикливое в голосе трибуна, когда он сказал Гиппию:

– Не следует упускать этого нового Ахиллеса. Последи за ним, Гиппий. Кто знает, может быть, он будет достойным преемником тебе, знатоку по части убийства, ушедшему в этом деле так далеко, как только возможно!

Гиппий захохотал и в то же время повернул кверху большой палец правой руки, указывая на свод. Это был жест, которым римский народ отказывал в пощаде побежденному бойцу

¹⁴ Ахиллес – сын Пелея и Фетиды.

¹⁵ Анион – Апио, ныне Теверона, маленькая река Лациума, впадавшая в Тибр и известная своими водопадами.

Глава XI За водою

Заходящее солнце заливало багровым светом сломанную и еще не восстановленную колонну одного из зданий, разрушенных во время великого пожара Рима. У ее подножия тихо катился в море Тибр. Улицы царственного города были полны глухим шумом, показателем того, что пора зноя и деловых занятий прошла, и негa климата охватила даже тех, кто вынужден был продолжать борьбу за кусок насущного хлеба и мог отдохнуть только в воображении. Сидя посреди этих развалин, Эска мечтательно и задумчиво смотрел, как катятся волны. Казалось, он не видел окружающих его предметов и, однако, сидел в позе человека, приготовившего действовать. Руки его были скрещены и голова наклонена, но ухо внимательно сторожило малейший шум.

По временам Эска нетерпеливо поднимался, делал несколько шагов назад и вперед, снова садился и бросал в воду камешки.

Вдруг на стороне реки, где сидел бретонец, показалась женщина, одетая в черное, с совершенно закрытым лицом, и начала наполнять кувшин. Почти невозможно было пройти мимо колонны, не заметив его, но она, казалось, не подозревала его присутствия. Кто бы мог сказать, как билось сердце в ее груди и как покраснели щеки под покрывалом?

Однако она открыла покрывало с восклицанием удивления, когда Эска наклонился к ней и взял кувшин из ее рук. Щеки Мариамны сделались бледнее, чем в ту памятную ночь, когда он спас ее от нападения Спадона и его товарищей по разврату.

В свою очередь и он пробормотал какие-то слова, выражавшие его удивление по поводу встречи в этом месте. Если он говорил правду, то чего же он ждал с таким нетерпением? С другой стороны, возможно, что и Мариамна чувствовала бы себя разочарованной, если бы ей пришлось одиноко наполнить кувшин тибрской водой.

Еврейка думала о нем за последние два дня гораздо больше, чем хотелось ей самой, гораздо больше, чем ей казалось. Странно видеть, как незаметно усиливаются и возрастают подобные чувства, между тем как для этого никто не употребляет никаких забот и стараний. Есть растения, за которыми мы ухаживаем и которые ежедневно поливаем, а между тем они выходят худосочными и малорослыми, и, наоборот, другие, которые мы топчем под ногами, роем и вытаскиваем с корнями, достигают такой жизненности и разрастаются так сильно, что их ветки покрывают наши стены, а наши дома наполняются их запахом.

Мариамна не была фанатичной дочерью Иудеи, для которой чужестранец был отверженным подобно язычнику. Ее постоянные сношения с Калхасом научили ее более возвышенным истинам, чем те, какие она почерпнула в преданиях отцов, и, несмотря на гордость своей расы и национальные предпочтения, она была проникнута принципами любви и терпения – основаниями новой религии, которой суждено было распространить свой свет на все народы Земли.

Однако Мариамна еще не способна была смотреть на красивого раба-бретонца, как на брата.

Скоро они углубились в разговор. Замешательство, происшедшее при их встрече, рассеялось с первым восклицанием изумления. Он не преминул сказать ей, как долго тянулось для него время ожидания около колонны, на берегу реки.

– Как ты мог узнать, что я приду сюда? – спросила девушка совершенно просто и искренне, хотя она должна была бы припомнить, что сама указала ему на свое обыкновение каждый день делать это дело во время его беседы с Калхасом, в тот вечер, когда он возвратил ее домой.

– Я на это рассчитывал, – с улыбкой отвечал он. – Я охотник, это тебе небезызвестно, и я знаю, что и самые дикие, и самые робкие животные на закате приходят к реке. Вчера я был здесь и попусту прождал два долгих часа.

Она устремила на него живой взор, но тотчас же, сильно покраснев, отвела глаза в сторону.

– Ты меня ждал, а я даже на минуту не вышла из дому во весь день, – сказала она дрогнувшим голосом. – О, если бы я знала!

Она остановилась в смущении, боясь, не слишком ли уже много сказала.

Собеседник, казалось, не заметил ее смущения. По-видимому, ему самому хотелось сделать ей какое-то признание, хотелось сказать что-то такое, чего он почти не смел высказать, а между тем его честная натура отказывалась дольше скрывать это. Наконец он с усилием сказал ей:

– Ты ведь знаешь, кто я такой? Я не располагаю своим временем, даже тело мое принадлежит другому Немного значит, что мой господин мягок, добр и благороден. Мариамна, я – раб.

– Я это знаю, – совсем тихо ответила она, с нежным состраданием во взгляде. – Мой родственник, Калхас, сказал мне это после твоего ухода.

Он глубоко вздохнул с облегчением.

– И, несмотря на это, ты хотела меня снова увидеть? – спросил он с выражением счастья.

– Почему же нет? – отвечала она с доброй улыбкой. – Хотя бы эта рука и принадлежала рабу, но она оттолкнула моего врага с силой сотни солдат и оказала мне защиту до самого моего дома с заботливостью и нежностью женщины. Ах, не говори мне о рабстве, когда твои члены сильны, а сердце отважно и чисто. Какое дело до того, что на теле цепи, если дух свободен? Эска, неужели ты думаешь, что я о тебе более дурного мнения, потому что ты язычник и раб?

Ее голос был очень мягок и нежен, когда она произносила его имя. Ухо Эски никогда не слышало слов, которые бы более чаровали его. Новое, странное чувство счастья овладело им, и, однако же, никогда его положение не доставляло ему таких страданий, как в эту минуту.

– Я не хочу ни под каким предлогом, чтобы ты дурно думала обо мне, – горячо отвечал он. – Выслушай меня, Мариамна: я сделался военным пленником и вместе с сотней моих соплеменников приведен сюда. Мы были выставлены на рынке, как животные, и, как зверей, нас раскупили поодиночке знатоки человеческого скота. Кай Люций Лициний купил меня ценой пары быков или упряжных лошадей. Я был куплен и продан, как животное, и приведен в дом своего нового господина!

Огорчение его было тем тяжелее, что он долгое время таил его в себе, однако он сдержал и подавил негодование, поднимавшееся в его сердце. Это было первое убо, охотно склонявшееся к тому, чтобы выслушать рассказ о его несчастиях, и сильно было искушение излить свою душу перед таким внимательным и сочувствующим слушателем. Но нужно отдать ему справедливость: он не удовлетворил своего желания. С детства он знал, что жаловаться свойственно людям слабым и детям, и, будучи мужчиной, не забыл уроков детства.

А нежный голос снова говорил ему слова утешения.

– Ведь он добр, – говорила она, – добр и очень снисходителен, ты сам сказал мне это. Мне было бы тяжело думать, что дело обстоит иначе. Уверяю тебя, Эска, что я была бы очень несчастна, зная, что ты...

Она вдруг остановилась и подняла кувшин, который Эска наполнил с такой поспешностью, что вылил половину содержимого на свою одежду и на платье девушки.

– Кто-то нас подкарауливает! Прощай! – прошептала она прерывающимся и испуганным голосом.

Она торопливо ушла, оглянувшись, однако же, назад, чтобы бросить последний взгляд, и затем еще более ускорила свой бег.

Эска смотрел на нее до тех пор, пока только мог ее видеть, не подозревая или, по крайней мере, не обращая внимания на два смелых черных глаза, рассматривавших его с выражением комического и шутивого удивления. Наконец он оглянулся на постороннее лицо, которое теперь перестало его рассматривать и разразилось громким, веселым и насмешливым хохотом.

Глава XII

Миррина

Голос Миррины всегда отличался большой резкостью. Она говорила отдельно и быстро и удивительно хорошо умела высказать насмешку или саркастическое замечание.

– Наконец-то я загнала тебя в угол! – сказала она. – Ну, ты можешь похвастать, что заставил меня побегать! Это ты, должно быть, за водой ходишь на берег Тибра после солнечного заката и наверняка случайно встретился с этой девочкой, одетой в черное платье, которая исчезла, как тень, возвращаясь к Прозерпине. Ах! У тебя такой удивленный вид, как будто у теленка, которого облакают жертвенными гирляндами и который жует цветы, украшающие его в последние минуты. Впрочем, ты будешь приведен к более благородному жертвеннику и тебе предстоит более достойный жребий, чем испустить последний вздох под рукой пригородного чародея. Клянусь Юпитером! Как ты озадачен и как ты красив, мой варвар, в эти минуты изумления!

Она приблизила свое лицо к его лицу и засмеялась, но ее движение было почти лаской. Миррина чувствовала сильную склонность к бретонцу, хотя на ней и лежало поручение привести его для известного дела, которое доверяла ему ее госпожа. Это дело было результатом разговора, происходившего утром, когда служанка, по обыкновению, расчесывала длинные и великолепные волосы своей госпожи.

Сон Валерии был тревожен и беспокоен. Напрасно ворочалась она с боку на бок на своей постели, отстраняя волосы от разгоряченных щек и пылающих висков. Безуспешно лежала она с открытыми глазами, смотря на тени, бросаемые ночной лампадой на противоположной стене. Сон больше не приходил, чтобы плотно сомкнуть ее глаза, и она отдавалась тому постоянно представляющемуся ей видению, которое вставало перед ней в ярких красках и не хотело рассеяться. Что ни делала она, стараясь забыть его и думать о чем-либо другом – она все видела молодого варвара, подобно полубогу царящего над трусливой толпой. Ей все еще представлялись льняные, развевающиеся по ветру одежды, колеблющиеся символы, столпившиеся в кучу головы и кривляющиеся лица жрецов Изиды. Она видела девушку, одетую в черное, ее стройный стан и всегда рядом с ней это благородное, полное чарующей красоты лицо человека, готового нанести удар. Для нее было невозможно анализировать эти чувства, и она считала себя очарованной. Валерия достигла своего полного развития, испытав, как ей казалось, всевозможные чувства, вкусив из каждого кубка, предлагавшего ей наслаждение или душевное волнение. Отважные люди льстили ее самолюбию, обольстительные мужчины ухаживали за ней, знатные лица уважали ее. Одни нравились ей, других она любила, над теми смеялась, об этих думала, что любит их. Но то, что она испытывала теперь, было ново. Это чувство, напряженное и страстное, было ей совершенно незнакомо. Не будь оно новым, мучительно было бы переносить его. Оно испугало бы молодую, робкую девушку, но Валерия не была таковой. Напротив, она была женщиной, которая наряду с пылкостью и стремительностью своего пола обладала упорством и решимостью мужчины.

И когда ей стало ясно, что она не в силах победить свое чувство, она решила удовлетворить его.

– Я хочу передать Лицинию одно поручение, – сказала она, отворачиваясь от зеркала и позволяя своим длинным темным кудрям упасть на лицо, – поручение, которое я не хочу передавать письменно, боясь, как бы оно не попало на чужие глаза. Скажи мне, Миррина, какое средство избрать мне, чтобы наверняка передать его моему родственнику?

Служанка была слишком проницательна, чтобы посоветовать ей устроить свидание, хотя не могло быть ничего проще, или предложить свои собственные услуги в качестве посредницы, уже доказавшей свою способность умелым выполнением многочисленных интриг. Миррина

слишком хорошо знала свое дело, чтобы могла решиться шутить над своей госпожой. Поэтому она приняла нерешительный и задумчивый вид и, положив палец на лоб, как будто придумывая что-то очень глубокомысленное, дала следующий ответ:

– Мне кажется, госпожа, что лучше всего было бы доверить дело какому-нибудь поверенному рабу.

Сердце Валерии тревожно билось, и ее прекрасные щеки приняли их естественный цвет, когда она с деланным равнодушием проговорила:

– Может быть, это средство было бы хорошо, если бы я знала такого раба. Ты, Миррина, знаешь этих людей. Могу ли я довериться кому-либо из них?

– Эти варвары вообще верные люди, – с невинным видом заметила служанка. – Я знаю, что у Лициния есть раб-бретонец, к которому он питает полное доверие. Но ты, госпожа, сама видела его.

– Ты думаешь? – спросила Валерия, принимая более удобную позу. – Узнаю ли я его?.. Каков он из себя?

Ее лоб снова покраснел под длинными волосами. Стоя позади нее, Миррина заметила, как краска залила ее шею. Не более как рабыня и служанка по своему положению, она в то же время была женщиной и, не в силах противиться искушению, насмешливо ответила:

– Это грубый и огромный парень, довольно неуклюжий, с белокурыми волосами. Он, по-видимому, глуповат, и я думаю, без сомнения, столь же верен, сколь груб.

Опасно раздражать тигрицу, не будучи отделенным от нее прутьями ее клетки. Валерия сделала нетерпеливое движение, которое сказало служанке, что она зашла слишком далеко, но эта последняя тотчас же сумела извернуться.

– Я могу привести его к тебе сюда, – серьезно прибавила она, – прежде чем пройдет шесть часов.

Госпожа довольно усмехнулась.

– Не приводи его ранее вечера, Миррина, – сказала она, – раньше я не буду готова, и, кстати, эти толстые золотые браслеты мне надоели. Унеси их, и пусть они больше не попадают мне на глаза... Так ты говоришь: нынче вечером?.. Ну, делай, как знаешь.

Служанка и госпожа совершенно поняли смысл этих слов. С одной стороны, это означало полную доверенность и щедрую награду, с другой – требовало искусных действий и намеренного закрывания глаз. Весь долгий день Валерия решила мечтать, лежа на диване, но ее ум был встревожен томительными альтернативами желания, надежды, сомнения и боязни, к которым присоединялось страшное оскорбление тщеславия и некоторая примесь стыда. В это время Миррина энергично взялась за предпринятое дело, которое, строго говоря, не чуждо было затруднений, в особенности после того, как она узнала в том месте, где сначала искала раба, то есть у Лициния, что Эска ушел и никто не знает, где можно было бы искать его.

Но ум женщины весьма часто черпает новые силы в препятствиях. Миррина, конечно, имела очень много знакомств, и между ними – с гладиатором Гирпином, который был ее преданным другом и поклонником. Этот почтенный человек в достаточной мере интересовался могучим бретонцем, чтобы наблюдать за его поведением, и ему было известно, что Эска вчера провел два или три часа на берегах Тибра. Он охотно открыл это обстоятельство распрашивавшей его Миррине, тем более что признавал себя неспособным увидеть здесь смысл, так как в этом квартале не было ни харчевен, ни такого места, где можно было бы играть в диск. Но для его собеседницы в этом не представлялось затруднения.

«Мужчина, – размышляла Миррина, – может поджидать в отдаленном месте в течение двух или трех часов только женщину, а женщина, раз она приходит, никогда не медлит так долго. Поэтому правдоподобно, что она заставила его ждать понапрасну; ясно, что он возвратится туда же на другой день, по заходу солнца».

Рассудив таким образом, она решила сама идти поджидать на место свидания и присутствовать при нем в качестве третьего лица, хотя бы это было и не совсем по душе влюбленным. Так как время, отделявшее ее от этого момента, могло утомить ее, она посвятила его испытанию терпения Гирпина целым рядом опытов. Это было приятное препровождение времени, но оно было слишком невинно и ему недоставало живости, так как гладиатор достиг уже того периода жизни, когда внешние чары ценятся по их действительной стоимости и когда от женщины требуется нечто большее, чем живой взгляд или бойкая речь, чтобы с успехом удержать его от бутылки старого вина или ложа покоя. Как бы то ни было, Миррина смеялась, шутила, перемигивалась, не позволяя себе ничего большего до самой минуты расставания.

Проводив ее взглядом, Гирпин засмеялся, мотнул головой и тяжелым шагом направился в харчевню с насмешливым выражением на своем простодушном, круглом и немного простоватом лице.

Миррина, накинув покрывало на лицо, без колебаний вошла в лабиринт убогих улиц, ведущих к Тибру, как будто ей были хорошо известны все их закоулки. Когда она пришла к цели своего путешествия, ей удалось легко найти удобное убежище, откуда она и решила не выходить до тех пор, пока не узнала все, что ей хотелось узнать относительно Эски и его подруги.

– Чего тебе от меня нужно? – спросил бретонец, несколько удивленный ее нескромным появлением. Фамильярное и насмешливое обращение служанки не очень ему нравилось.

– Я тебе, без сомнения, мешаю, – отвечала девушка, снова расхохотавшись, – тем не менее ты обязательно должен последовать за мной, хочешь ты того или нет. Мы, римлянки, не привыкли получать отказы: мы не то, что женщины севера – длинные, бледные и замороженные.

Хотя Эска вполне разделял это мнение, однако ему стало досадно на то, что им так распоряжаются.

– У меня нет свободного времени, – сказал он, – чтобы выполнять твои прихоти. Мне надо возвращаться домой, потому что приближается час ужина.

– И я знаю, что ты раб, – подтвердила Миррина вызывающим тоном и с крайне презрительным жестом. – Ты не более как раб, и, несмотря на твою силу, твоё сложение и смелость даже этот час не принадлежит тебе.

– Я это знаю, – сказал он, опуская голову, чтобы скрыть краску негодования, покрывшую его лицо. – Я это знаю. Раб должен подавать блюда своему господину и обслуживать ему.

Миррина увидела, что ее удар попал в цель, но, как ни велико было ее восхищение его красотой, ее ничуть не обеспокоило сознание того, что она ранила сердце этого человека.

– И так как ты не более как раб, – продолжала она, – то тебя можно навьючивать и погонять, как мула! Тебя можно бить, как собаку! Ты лишен даже прав мула, потому что он лягается и упрямствуется, если с ним слишком дурно обращаются, а ты ведь все-таки человек, хоть и варвар, и должен раболепствовать, трепетать, кусать губы и терпеливо страдать!

Каждый звук, произносимый этим крикливым голосом, терзал его сердце подобно кинжалу; все тело его трепетало от ярости при этих оскорблениях, но он считал позором обнаружить свое волнение и, преодолев себя, спокойно спросил:

– Чего ты от меня хочешь? Ведь не для того же ты следила за мной и разыскивала меня, чтобы сказать только это?

Миррина подумала, что металл достиг надлежащей степени плавления. Теперь она приготовилась влить его в форму.

– Я разыскивала тебя, – сказала она, – потому что у меня есть до тебя дело... Мне хочется оказать тебе большую услугу. Слушай, Эска! Тебе необходимо идти за мной. Какое счастье, что всех мужчин в Риме не надо так долго уговаривать, чтобы они пошли за красивой девушкой.

Говоря эти слова, она была, в самом деле, очень красива, но для озабоченного бретонца это не имело значения, и если Миррина рассчитывала вызвать у него какие-нибудь похвалы или одобрение, то ей пришлось жестоко разочароваться.

– Я не могу идти за тобой, – сказал он, – мои обязанности зовут меня в другое место. Ты сама напомнила мне, что я себе не хозяин.

– Для того я и говорила! – живо воскликнула она. – Я укажу тебе средство достигнуть свободы. Только одна я могу тебе помочь, и если ты последуешь моим советам, то скоро сделаешься свободным.

– За что это ты хочешь оказать мне такую услугу? – спросил с недоверием Эска. Редко рождаются на севере Альп порывистые натуры, мгновенно решающиеся на что-либо и с открытыми глазами попадающие в западню. – Я варвар, чужестранец, почти враг. Что у нас с тобой общего?

– А может быть, я в тебя влюбилась, – смеясь сказала Миррина, – может быть, ты, в свою очередь, сослужишь мне службу! Но ты так же холоден, как ледяной климат, в котором ты родился. Ну, выбирай любую из этих двух причин, но не мешкай долее. Подпоясывайся и иди за мной.

Хотя желание свободы никогда не было заглушено в сердце Эски, но в эти последние два дня оно достигло крайне мучительного напряжения. Он еще не признался самому себе, что страстно любит Мариамну, но ясно чувствовал, что в ее присутствии была для него невыразимая прелесть, а без нее все теряло свою цену. Это новое чувство сделало его положение еще более мучительным. Он хорошо сознавал, что нелепо посвящать свою жизнь другой, когда эта жизнь не принадлежит ему, и униженное состояние раба, которое, насколько возможно, смягчала для него доброта его господина, показалось ему теперь возмутительной аномалией. Он чувствовал, что ни самые отчаянные усилия, ни самая дорогая жертва не удержали бы его, что он рискнул бы жизнью и охотно лишился ее, лишь бы только достигнуть свободы, хоть на одну неделю.

– Ты знаешь мою госпожу, – говорила Миррина, когда они оба торопливо шли по потемневшим улицам, – ты знаешь, что она самая могущественная и самая прекрасная патрицианка в Риме и, мало того, близкая родственница твоего господина. Одного ее слова достаточно будет для того, чтобы сделать из тебя что ей угодно. Но запомни, что она самовластна, любит повелевать и не терпит, когда ей прекословят. Впрочем, немногие женщины умеют переносить это.

Эске еще неизвестна была эта особенность женского характера, но не без какого-то смутного страха и не без предчувствия беды слушал он речи Миррины о ее госпоже, вовсе уже не с тем интересом, какое возбудило в нем общение с таким лицом несколько раньше.

– Меня ли именно она ждет?.. И как ты могла найти меня в таком городе, как наш?

– Я знаю многое, – отвечала веселая служанка, – но не хочу кричать на весь мир о том, что знаю сама. Впрочем, я отвечу на оба твоих вопроса, если, в свою очередь, ты пожелаешь ответить на один мой. Валерия не произносила твоего имени, но все же я уверена, что только ты один во всем Риме можешь удовлетворить ее желания. Я знала, что найду тебя на берегу реки, потому что нельзя помешать гусю идти к воде, а сумасшедшему – к своей участи. Теперь ответишь ли ты на мой вопрос с таким же чистосердечием? Любишь ты эту бледную, неопытную девушку, которая так быстро убежала, когда я застала вас вместе?

Это был именно тот вопрос, который в течение всего вечера задавал себе Эска, и, надо сознаться, без особенного успеха. Поэтому и Миррине не пришлось получить вполне категорического ответа. Бретонец немного покраснел, подумал и уклончиво ответил:

– Сходятся люди одинаковые. А что общего между двумя чужестранцами, рожденными на двух самых противоположных концах империи?

Миррина с торжествующим видом захлопала в ладоши.

– Сходятся люди одинаковые, говоришь ты, – весело воскликнула она. – Не пройдет и часа, ты будешь говорить иначе. Но тише!.. Теперь молчи и иди тихонько за мной. Под этими деревьями становится очень темно.

Сказав эти слова, Миррина провела Эску в узкую дверь, выводящую в окольную улицу, куда они оба вышли, и пошла со скоростью и уверенностью, говорившими об ее отличном знании местности, так что Эска с трудом поспевал за нею. Теперь они очутились в очень густой роще, пересекаемой полосами света поднимавшейся луны, и Эска с трудом мог различать белое платье Миррины. Затем они вышли на нежную и ровную лужайку, окаймленную группой черных кедров, сквозь ветви которых виднелась луна. Наконец, завернув за угол колоннады, где высилась фантастическая статуя, они достигли другой двери. Она тихо отворилась под рукой Миррины, и они оба вступили в длинный узкий проход, устланный ковром и слабо освещаемый лампадой.

– Подожди здесь, пока я раздобуду огня.

На минуту исчезнув, она тотчас же вернулась, чтобы провести Эску через большую темную комнату, затем через другой ход и, наконец, вдруг остановившись, подняла шелковую портьеру и просто прибавила: «Ты найдешь здесь вино и пишу» – и втокнула его внутрь.

Потоки нежного света ослепили его взоры, но ему удалось тотчас же рассмотреть пышную красоту того уединенного покоя, в который он вошел. Видно было, что женский вкус и ум распределял огромные богатства, служившие для украшения комнаты. Стены были покрыты фресками разнообразнейших цветов, представляющими самые увлекательные сцены. Там – три богини-соперницы, во всем блеске своих бессмертных чар, не сводили глаз с сильно смущенного пастуха Париса. Зависть была написана на лице Юноны, презрение – на прекрасном и надменном челе Минервы, и улыбка, заслужившая блестящее яблоко, светилась в прелестных глазах Афродиты. Дальше – Цирцея¹⁶, в своем магическом величии, и ее жертвы, со сверкающими глазами и пересохшими губами, по-видимому, все еще просящие испытать из соблазнительного и сладостного, но пагубного кубка. Очаровательный Эндимион¹⁷ дремал в грезах любви. Леда старалась освободиться от ласк своего бессмертного любовника. Здесь – текла кровь красавца Адониса¹⁸, сраженного лесным чудовищем; там, где широколистые кувшинки дремали на водной поверхности, над водой наклонился Нарцисс, и его жизнь исчезала в созерцании собственного образа Молодой Бахус из бронзы лежал среди виноградных плодов. Мраморный Купидон плакал над своим сломанным луком. Около карнизов хоровод нимф и сатиров танцевал, держась за руки. Это были сильные властители лесов, пышущие изобилием своей красоты и силы. Наконец, вдалеке, освещенный прямо падающими на него лучами лампы, висел портрет самой Валерии. Искусный художник изобразил ее в развевающемся платье, которое давало полную возможность оценить пропорциональность ее роста и совершенно своеобразную позу. В этой позе сдерживаемой страсти видна была и заносчивость могущественной женщины, и надменное кокетство, являвшееся не последней из ее прелестей.

Довольно опасно было оставаться в этой дышащей сладострастием комнате, под этим мягким светом, пить лучшие произведения фалернских холмов и рассматривать образ Валерии, который, затмевая всех женщин, мог сделать безумным уже разгоряченный мозг, пле-

¹⁶ Цирцея – знаменитая волшебница мифологии, дочь Солнца и нимфы Персы, своими чарами превратившая спутников Одиссея в свиней и внушившая самому герою страстную любовь к себе.

¹⁷ Эндимион – мифологический пастух из Карики или Элиды, отличавшийся необычайной красотой. Взятый на небо Юпитером, он был оттуда изгнан и осужден на вечный сон за то, что осмелился посягнуть на честь Юноны. Почувствовав к нему горячую любовь, Диана перенесла его на гору Латм в Карики, куда часто являлась к нему насладиться его лицемерием.

¹⁸ Адонис – замечательной красоты юноша, по мифологии, плод кровосмешения Цинира и его дочери Мирры. Любовь к нему Венеры возбудила ревность Марса, и последний, приняв образ вепря, умертвил его, когда тот охотился в лесах Ливана. Уступая слезам Венеры, Юпитер позволил Адонису снова увидеть свет, но под условием, чтобы он одну половину года проводил в царстве Прозерпины. По-видимому Адонис являлся образом солнца, а время, проводимое им на земле или в преисподней, означало шесть летних и шесть зимних месяцев.

нить своей красотой чувство и неизбежно овладеть сердцем. Очень опасно было прилечь на ложе, подушки которого еще хранили отпечаток ее форм, или касаться открытого браслета, поспешно сброшенного и еще теплого от недавнего прикосновения к ее руке. Опасно было все это, но гораздо опаснее было то, что предстояло далее.

Эска поставил на стол только что выпитый им бокал, и его глаза остановились на висевшем прямо перед ним портрете, с выражением несомненного удивления, как вдруг шуршание шелковой портьеры заставило его повернуть голову назад. С этой минуты и танцующие нимфы, и очаровательная волшебница потеряли свою прелесть. Надменная Юнона, мудрая Миневра и улыбающаяся Венера, со своим блестящим поясом, исчезли с его глаз. Даже портрет Валерии перестал быть центром комнаты, потому что на пороге появилась сама Валерия. Эска с живостью поднялся, и два прекрасных создания, залитые светом, предстали друг другу. Они стояли лицом к лицу – хозяйка и гость, патрицианка и раб, осаждающая и обороняющийся.

Глава XIII Волей-неволей

По всему телу Валерии пробежала дрожь, но сравнительно с Эской она сохраняла наибольшее спокойствие, тем более что ее волнение, к чести ее, не могло быть результатом внезапной решимости. Она решилась действовать таким образом не без колебаний и не без большого смущения.

Первой мыслью Валерии было только повидать снова милое ей лицо, затем она сказала себе, что если она послала за рабом своего родственника, то ей можно было бы без всякого вреда поговорить с ним; ей казалось даже странным поступить иначе, и, каков бы ни был этот разговор, его не должен был слушать никто, даже Миррина, при своей верности обладавшая, однако же, длинным языком и любовью к сплетне, которые нечего было и надеяться обуздать.

Она сама сознавала, что ей неизвестен тот необычайный повод, по которому бретонца можно было бы позвать в ее собственные покои, окружить всем тем, что могло увлечь его взоры и возбудить чувственность, и предстать перед ним во всем блеске своей красоты, еще более усиленной убранством, драгоценностями, освещением, цветами и благовониями. Если она призывала его к себе, то, конечно, было довольно естественно предстать перед его глазами окруженной всеми преимуществами своего положения. Она не виновна была, что эти преимущества были так пышны, изысканны и увлекательны. В таком случае пришлось бы упрекать старое фалернское за то, что оно так обольстительно и так сильно влияет на мозг.

«Нужно только быть настороже, – решила она. – Я посмотрю на него, поговорю с ним, посмеюсь и буду *действовать сообразно с обстоятельствами*».

Это было довольно благоразумное решение и весьма не трудно поддающееся выполнению в тех случаях, когда можно по своему желанию управлять обстоятельствами.

Как настоящая женщина, Валерия первая нарушила молчание, хотя она почти не сознавала, что говорит. В смущении, которое очень шло ей, она занялась расстегиванием и застегиванием браслета, представлявшего пару с брошенным на диване. Вероятно, для нее не было тайной, что ее круглая и белая рука казалась при этом еще круглее и белее.

– Я велела позвать тебя, – начала она, – потому что мне сказали, будто я могу положиться на твою верность и скромность. Мне сказали, что ты неспособен выдать тайну. Правда ли это?

Излишне говорить, что Эска, уже пораженный событиями этого вечера, находился в состоянии человека, неспособного чему-либо удивляться. Он мог только слегка наклонить голову в благодарность за эту дань его честности и пробормотать несколько неясных слов. Валерия, по-видимому, убедилась теперь, что лед сломлен, и продолжала с большей живостью:

– Я хочу поверить тебе тайну которую, кроме тебя, никто другой не должен знать. Честь, достоинство и слава фамилии опираются на эту тайну, и, однако, я собираюсь доверить ее тебе. Не сумасшествие ли, не безумие ли ставить себя в зависимость от того, кого я так мало знаю? За кого ты меня принимаешь? Что ты обо мне думаешь?

Ответ на этот вопрос, сопровождавшийся краской на лице и весьма красноречивым взором, был довольно труден. Раб мог бы ответить:

– Что я о тебе думаю?.. Я думаю, что ты самая очаровательная сирена, какая когда-либо проверяла свои чары на злополучном матросе!

Но он отвечал:

– До сегодня я не трепетал перед мужчиной, не обманул женщины и теперь не переменяюсь.

Этот холодный ответ слегка разочаровал ее, но ее опытный глаз не мог не подивиться гордой позе и строгому взгляду, сопровождавшим его слова. Она слегка наклонилась к нему и продолжала нежным голосом:

– Женщина всегда как-то одинока, каково бы ни было ее положение. Ах, как нас легко обмануть и как бесплодно мы плачем и ломаем руки, когда нам случается быть обманутыми! Но тебя я угадала с первого взгляда. Для меня достаточно беглого взора, чтобы понять характер. Ты помнишь, как я велела позвать тебя к своей лектике, когда ты был с гладиатором Гирпином?

Она снова покраснела, ее опасный взор еще раз заблестел. Голова Эски начала склоняться, и его сердце забилось от нового чувства, от волнения и неожиданности.

– Как я могу позабыть это? – сказал он глубоко смиренным тоном. – Это такая честь, которая не выпадает на долю людей моего положения.

Она улыбнулась ему нежнее, чем прежде.

– Я искала тебя снова, – прошептала она, – но не нашла. Мне нужен был человек, которому бы можно было довериться. У меня нет ни советника, ни защитника, ни друга. Я сказала себе: «Что с ним стало? Кто, кроме него, сумел бы сделать то, что я у него попрошу, и сохранить мою тайну?» Потом Миррина сказала мне, что я нынче вечером увижу тебя здесь.

Казалось, она сдержала себя, чтобы не сказать еще что-то, и бросила на бретонца почти умоляющий взгляд надежды. Но Эска был молод, чистосердечен и прост; он ждал, что она будет продолжать, и Валерия, впервые оробевшая и упавшая духом, продолжала более холодным и подходящим к делу тоном:

– То, что я хочу доверить тебе, должно быть передано тобой в собственные руки Лициния. Никому другому это не должно попадаться на глаза. Никто не должен знать, что ты послан мной и даже что ты приходил сюда сегодняшним вечером. В случае надобности ты должен подвергнуть опасности даже свою жизнь. Могу я положиться на тебя?

Эске начинало казаться, что он уже не может сам полагаться на себя. Освещение, благоухания, самое место и эта обольстительная красавица, сидящая подле него, производили страшную бурю в его сердце и рассудке. Все, что он видел и слышал, казалось ему столь странным, столь невозможным, что он мог усомниться в своем бодрствовании. В его характере было очень много гордости, но не было ни малейших задатков тщеславия, и, подобно многим мягким и неопытным натурам, он боялся оскорбить нежную женщину и чувствовал ту сдержанность, которая в известных случаях крайне затруднительна для мужчины и, наоборот, делает женщину более вызывающей. Поэтому он с усилием овладел собою и с невероятным спокойствием и простотой принял доверяемое ему поручение. Статуя Гермеса, украшавшая подъезд, не казалась бы более холодной и непроницаемой. Валерия смутилась. Между тем необходимо было найти повод удержать его, потому что она чувствовала, что если он уйдет теперь, то уйдет навсегда. Она решила вызвать его на разговор, но ее женская ревность заставила ее избрать самый неблагоприятный для успеха дела предмет разговора.

– Я тебя видела и другой раз, – сказала она, – среди беспорядка и замешательства уличной драки, когда жрецы совершенно против моей воли оскорбляли бедную девушку, которой ты пришел на помощь. Я сама бы пошла на выручку ей, если бы это оказалось нужным, но ты ринулся, как орел, схватывающий козленка. Что случилось с этой девушкой?

Этот вопрос сопровождался вопросительным взглядом, и улыбка досады искривила ее губы, когда она увидела, что Эска покраснел и смутился. Помимо своей воли, она назвала имя доброго гения бретонца, и этот последний в одно мгновение сделался для всех женщин мира, за исключением одной, как бы мраморным человеком.

– Я возвратил ее в руки ее отца, – отвечал он и затем с чувством покорности прибавил: – Благоволи дать твои приказания и позволь мне уйти.

Валерия так мало привыкла встречать препятствия в выполнении своих фантазий и прихотей, что ей не верилось в истинность его равнодушия. Она была убеждена, что бретонец испытывал робость вследствие ее снисходительности и боялся перешагнуть границы перед такой добротой. Поэтому она решила не останавливаться ни перед чем, лишь бы вывести его

из ошибочного мнения. Поместившись на диване в самой очаровательной позе и с нежностью глядя на него, она велела ему принести ее дощечки для письма.

– Я ведь, – сказала она, – еще не приготовила поручения, которое должна послать Лицинию. Не слишком ли ты соскучишься со мной, если я тебя подольше задержу у себя пленником?

Случайно или намеренно ее розовые пальцы задели пальцы Эски, когда она брала из его рук дощечки? Случайно или намеренно ее роскошные волосы упали на ее шею и грудь? Но странная вещь! Когда она наклонилась над дощечками, она побледнела, и рука ее дрожала так сильно, что ей невозможно было начертить ни одной буквы на мягком воске. Она велела ему подойти поближе, наклонилась к нему головой, и ее волосы обвили руку раба.

– Я не могу писать, – сказала она в волнении. – Меня что-то давит... Я ослабела... Я едва могу дышать... Миррина отдаст тебе поручение завтра... Но, Эска... Мы одни... Могу ли я на тебя положиться?.. Ты не изменишь мне?.. Ведь ты мой раб, не правда ли? Пусть же это будет залогом твоего рабства!

Сказав эти слова, она сняла браслет со своей руки и попыталась надеть его на руку бретонца, но сверкающее кольцо было слишком узко, и она не могла закрыть его. Сжав эту руку своими обеими руками, она посмотрела ему в лицо и засмеялась.

Если бы хоть один взгляд ответил ее взгляду, хоть одна из этих бесстрастных черт дрогнула бы на минуту, – она сделала бы ему последнее признание. Но ничего подобного не было. Тогда она сняла браслет с его руки, и в эту минуту к ней мгновенно вернулось то самообладание, которое женщины, по-видимому, черпают в необходимости.

– Я хотела испытать твою честность, – высокомерно сказала она, вставая. – Можно доверить даже такое дело, как мое, человеку, которого не соблазняет и само золото. Ты можешь уходить, – прибавила она с легким движением головы. – Завтра, если ты будешь мне нужен, я извещу тебя через Миррину.

Она проводила его глазами, пока он не скрылся за шелковой обшивкой. По лицу ее пробежала дрожь, грудь колыхалась, и она так сильно сжала кулаки, что ее белые руки сделались крепкими, как мрамор. Затем она больно закусил губу, и это, по-видимому, возвратило ей обычное спокойствие и постоянное достоинство осанки.

Но вдруг отвергнутый браслет привлек ее внимание. Она с яростью бросила его на землю, растоптала ногами и сорвала месть на неповинной драгоценности.

Глава XIV Цезарь

Когда женщина чувствует себя отвергнутой, первым движением ее является месть, какой бы ценой она ни была достигнута. Болезненное чувство, которое мужчина с трудом может осмыслить, заставляет ее в подобных случаях избирать орудием своих целей такого человека, которым она в глубине души гнушается и презирает, общение с которым является оскорблением и услуги бесчестьем. Падая таким образом в своем собственном мнении, она знает зато, что рана, которую она нанесет оскорбителю, будет отравлена ядом.

Несмотря на самообладание, каким отличалась Валерия, она погрузилась в эти чувства раньше, чем Эска покинул ее дом. Она никогда не простила бы себе, если бы ее слабость продолжилась далее. Но она сумела преодолеть себя и сохраняла величайшее спокойствие даже тогда, когда Миррина услуживала ей перед сном. Девушка была весьма удивлена полной безуспешностью ее стараний. Благодаря ей одной известному средству, к которому она прибегала уже очень давно, она слышала все, что было сказано между ее госпожой и красавцем-рабом. Она не могла понять, почему их свидание не привело к более решительному результату. Миррина недалеко была от мысли, что ее собственные прелести до такой степени пленили раба, что он сделался нечувствительным к чарам Валерии. Это лестное предположение породило в ней соблазнительную перспективу случайностей, интриг и запутанных планов, суливших немало удовольствий. Служанка ушла повеселевшей, а госпожа терзалась в агонии позора и оскорбленной гордости.

Однако с наступлением дня в ее уме явились более трезвые мысли и более осуществимые решения.

Валерия была женщиной, неспособной забыть то равнодушие, с каким отнеслись к ней. Большинство женщин охотнее извинят оскорбление, чем пренебрежение.

Еще задолго до того времени, когда она встала, у нее уже было решено, где, когда и как она нанесет удар. Оставалось только избрать оружие и наточить острие.

С давнего времени Валерия заметила, что Юлий Плацид был ей всецело предан, насколько это позволял его характер. Часто, любезничая с ней, он говорил ей, что ценит ее бесспорно выше ее стоимости, и по крайней мере комплименты трибуна были всегда так искусно придуманы, как только этого можно ожидать от человека, обладающего изящными и утонченными манерами и такой же дурной славой. Женское ухо могло почувствовать правдивые нотки в его льстивых похвалах, и Валерия чувствовала, что трибун любил ее так сильно, как только мог любить кого-либо, кроме себя. И несмотря на это, она ненавидела этого человека во всех обстоятельствах, хотя ненависть отчасти смягчалась благодаря его хорошему тону. В нем-то она и видела могущественное, сильное и гибкое оружие, которое, ко всему этому, было, можно сказать, у нее под рукой. Она встала и оделась со своим обычным ленивым, надменным и холодным видом, но Миррина, хорошо знавшая ее, заметила красные пятна на ее щеках. От нее не ускользнуло и то, как на мгновение ледяная дрожь пробежала по телу госпожи, хотя в это время была самая жаркая пора года.

Перед полуднем Юлий Плацид получил письмо, по-видимому доставившее ему величайшее удовольствие. Снова позолоченная повозка заблестела на солнце, и белые лошади как молния помчались по улицам. Кудри Автомедона развевались по ветру, и на этот раз юноша мог безнаказанно быть еще более наглым, чем обыкновенно. Трибун сидел, облокотясь на подушки, и его усмешка, казалось, утратила долю своей злобности, хотя лицо по-прежнему хранило выражение жестокости. Это был удовлетворенный тигр, чувствующий себя сытым. Такое выражение не покидало его ни тогда, когда он был на форуме, ни тогда, когда выказывал свою грацию и ловкость, играя в мяч с целью разогнать банную истому. Но в особенности резко

было это выражение в часы ужина, когда он сидел в пиршественном зале цезаря, в обществе храбрейших солдат, благороднейших сенаторов, опытнейших государственных людей, остряков, обжор и развратников.

Для Вителлия пир не был простым и легким обедом. Были заложены целые провинции, опустошено море, чтобы достать главные элементы торжества¹⁹. Смелые рыболовы провели ночи на бурных волнах для того, чтобы гигантский палтус мог сверкать своей серебряной чешуей на императорском столе в широком золотом блюде. Не один лесистый холм, покрытый дубами, оглашался завываниями своры и криками охотников, старавшихся убить вепря около болота и сделать его огромным центральным блюдом, хотя и предназначенным только для того, чтобы придать полноту картине. Даже фазан, зажаренный со всеми своими перьями, был слишком грубым мясом для эпикурейцев, изучавших искусство гастрономии под управлением цезаря. Тот, кто мог наслаждаться не одним только запахом этого кушанья, считался человеком с крайне грубым вкусом. Тысяча соловьев была приготовлена для ужина, но и от них брали только мозг и язычки. Зажаренное заячье бедро считалось уже слишком обыкновенным кушаньем для императорского стола.

За столом из слоновой кости расположились двенадцать гостей, таким образом, что каждому из них можно было видеть амфитриона со своего места. Цезарь был во всей своей славе. Гириянда из белых роз окаймляла его бледное и опухшее лицо, придавая ему болезненный отпечаток. Черты его лица некогда были красивы и изящны, и в них можно было прочесть ум, энергию и живость. Теперь глаза его казались потухшими, и под ними из выцветшей кожи образовались мешки; челюсти сделались огромными и неуклюжими и придавали выражение идиотской чувственности всему его лицу, проявлявшемуся только при появлении любимого блюда или при запахе редкого вина. В этот момент с грубой и прожорливой жадностью свиньи он был углублен в свое занятие и, опираясь на дряблую руку всем своим огромным туловищем, облеченным в очень широкую белую одежду, другой рукой пожирал горький салат, соленые селедки и анчоусы. Эти и другие возбуждающие средства всегда подавались в Риме при первой смене блюд, с целью возбудить аппетит, который должна была удовлетворить остальная часть обеда. От времени до времени он окидывал взглядом всю свою обширную залу и всматривался в мраморные столбы, багряные обои, переполненные плодами и цветами вазы, сверкающие кубки, бокалы и блюда из полированного золота, как будто ожидая и боясь, чтобы кто-нибудь его не ударил. Но этот беспокойный взгляд немедленно падал на стол, и властелин снова погружался в наслаждение своим любимым занятием.

Расположившись сбоку от императора, грациозный мимик Парис, детское лицо которого уже горело от вина, останавливал свои черные смеющиеся глаза поочередно на каждом из гостей, с нахальством начинающегося опьянения. Одежда молодого актера была изысканна до крайности, а на шее висело жемчужное ожерелье – подарок императрицы, за который было заплачено ценой целой провинции. Он бегло говорил со своим соседом, толстым человеком с грубыми чертами лица, который время от времени отвечал ему одобрительным ворчанием, но в блестящем взоре которого видна была бездна ума и сарказма, а с толстых чувственных губ – когда они не были заняты, как в настоящую минуту, – срывались пикантные насмешки, непременно повторявшиеся на другой день на всех ужинах Рима. Это был Монтан, опытный государственный человек и выдающийся дипломат, общества которого искали при дворе и суждение которого имело вес в сенате. Но с давних пор старый эпикуреец познал, что не могут похвалиться безопасностью те, кто управляет советом, тогда как героев пиршеств ожидало

¹⁹ Вот в каких выражениях описывает Тацит роскошь пиров Вителлия и его страсть к чревоугодию: «Позорная и неутомимая страсть была у него к обжорству. Все раздражающее вкус привозили из города и Италии. Дороги от обеих морей оглашались криками везущих. Главные сановники городов разорены были устройством пиров. Словно какое опустошение произошло над самыми городами. Воин отвыкал от трудов и мужества, привыкая к наслаждениям и презрению к вождю» (Taciti. Historiarum lib. II, c. 6).

верное отличие, и вот свой сильный ум он посвятил изучению гастрономии и производству острот, и только изредка на его лице можно было прочесть удовольствие, получаемое им от того, что входило в его уста или выходило из них.

Рядом с ним возлежал Лициний. Его энергичное лицо и благородная осанка представляли резкий контраст со всеми окружающими, которые, не исключая и цезаря, относились к нему с заметным уважением и почтением. Но старый солдат казался несколько усталым и не в своей сфере. Он презирал эти длинные пиршества, столь несогласные с его простыми обычаями, и с полным пренебрежением, хотя и благодушно, смотрел на окружающих, храня про себя свое суждение. Он сидел на пиру, как будто стоя на аванпосте. Это было продолжительное и неприятное занятие, которое ни к чему не вело, но таков был его долг, и он считал необходимым выполнить его.

Далеко не таково было откровенное и веселое выражение, какое так искусно умел принимать Юлий Плацид. В этот момент он отвечал остроотой на короткий и неясный вопрос императора, который с полным ртом говорил с ним. Его остроота заставила расхохотаться соседей и даже вызвала улыбку на бледном лице самого Вителлия. Трибун обладал талантом приобретать популярность, приспособляться ко всякому и в особенности снискивать доверие своего царственного владыки.

Юлий Плацид был большим мастером давать светские ответы, умея высказывать их без малейшего промедления, ни на минуту не меняя выражения лица, и прозвище или шутка, брошенные остроумным трибуном, навеки прилипали к тому, на кого они направлялись. Кроме того, он обладал выдающимся талантом: он был превосходным знатоком приправ. Этим он был обязан своему здоровому, тонкому, но не извращенному в постоянных пиршествах вкусу. За исключением Монтана, он мог уложить под стол всех гостей, тогда как его желудок и голова нимало не страдали от подобного разгула.

Наш знакомец Спадон также присутствовал на празднике. Вообще говоря, это был несомненный шут, вульгарные и площадные выходки которого занимали Вителлия, когда его отяжелевший ум неспособен был уже чувствовать тонкостей остроумия. В этот вечер евнух был молчалив и печален. Он возлежал, опершись головой на руку и стараясь, насколько возможно, спрятать лицо, обезображенное и распухшее, как будто от раны. Его толстая, безобразная фигура казалась еще отвратительнее в пышном одеянии, каждая складка которого была закреплена застежкой из изумрудов или жемчуга, и, хотя он ел медленно и с трудом, казалось, что он решил не пропустить ни одного из застольных наслаждений.

Остальные гости состояли из двух-трех сенаторов, которые, обладая благоразумием Монтана, но не его гениальностью, обращали на себя внимание исключительно благодаря своей лести. Предводитель преторианской гвардии, высокий человек, с угрюмым выражением лица, никогда не покидавший своего золоченого панциря, в который он был облачен и теперь, казалось, нетерпеливо ожидал конца пира. Далее сидели два или три неизвестных и незнатных человека, которых римское общество выразительно отметило названием *теней*, и положение, равно как и самая жизнь, которых прямо зависело от их патрона. Среди этих последних было два императорских отпущенника, несчастных человека с беспокойными, тоскливыми взорами и испуганными, озабоченными лицами. Они²⁰ присутствовали здесь в целях предупреждения отравы и отведывали каждое блюдо, приготовленное для их владыки. В предшествовавшие царствования достаточно было одного такого лица, но огромное количество всякого рода блюд, поглощаемых Вителлием, сделало невозможным для одного обыкновенного желудка состязаться с ним за все время обеда, и два труженика сменяли друг друга поочередно, спасая жизнь своего господина. От людей, несущих такую обязанность, нельзя ожидать очень живого аппетита и веселых взглядов.

²⁰ Так называемые *praegustatores*.

Долго длившаяся первая смена яств наконец окончилась. Главное лакомство ее, состоявшее в кушанье, осыпанном маковыми семенами, пропитанным медом, совершенно исчезло. Стол был убран толпой молодых азиатов, явившихся при звуке странной восточной музыки и унесших остатки блюд. Когда они вошли в одну из дверей, в другой показалась группа белокурых красивых девушек, набранных из среды пленных варваров. Они были просто одеты в белую кисею и украшены гирляндами цветов; в руках их находились золотые блюда и сосуды, составлявшие вторую смену. В ту же минуту на середине залы медленно расступилась портьера, позволяя видеть трех сирийских танцовщиц, расположившихся в различных позах, полных грации и страсти. Скрытые лампы отбрасывали на их лица и тела розовый свет, а кадильницы, курившие фимиам у их ног, окутывали их легкой дымкой. Вдруг они ударили в свои кимвалы и, сделав прыжок на землю, начали танец, поочередно сменяя томность быстротой и прерывая его то неистовыми жестами вакханок, то томной нежностью или грациозным спокойствием. Горячая кровь прилиwała к черным лицам этих дочерей солнца, черные глаза блестели под длинными ресницами, и белые зубы как жемчужины сверкали в ярко-красных устах. Затем их удивительно стройные члены, округлые и гибкие формы как бы застыли в позах, выражавших пылкую страсть, сделанное упрямство или покорную любовь.

Танец в скором времени кончился. Мелькающие ноги кружились все с большей силой и быстротой, прекрасные руки, украшенные браслетами и маленькими серебряными колокольчиками, мерно отбивали такт. В момент, когда музыка достигла самой большей быстроты, три танцовщицы внезапно остановились, как будто превратясь в камень, и образовали редкую по красоте фантастическую группу у самых ног гостей цезаря. Между последними пробежал шепот удивления. Когда они удалялись, приложив руки к устам и лбу, делая восточное приветствие, Плацид бросил им жемчужное ожерелье, которое должна была поднять танцовщица, по-видимому управлявшая другими. Один из отпущенников императора, казалось, готов был последовать этому примеру. Он также опустил руку за пазуху, но потому ли, что переменял свое решение, или потому, что там, где он искал, ничего не нашлось, – он вынул назад свою руку пустой. Вителлий, сняв один из своих браслетов, бросил его танцовщицам, в то же время давая знак, что им пора уходить, так как они отвлекали внимание от того, что было гораздо важнее: наступала вторая смена. На это Монтан захлопал в ладоши, устремив в то же время глаза на фламинго, которого искусный слуга готовился нарезать на куски своим длинным ножом.

Мы никогда не кончили бы, если бы хотели рассказать со всеми подробностями о пиршестве, предложенном цезарем своим гостям. Вепрь, паштеты, козлята, всех сортов раковины, дрозды, перепелки, всевозможные овощи и пулярки сменялись фазанами, гвинейскими курицами, индейскими петухами, каплунами, дичью, лисицами, тетеревами и голубями. Все, что только ползало, летало, бегало или плавало, все, что обладало тонким запахом, было принесено на службу императору. Когда аппетит был удовлетворен и становился бессильным, прибегали к самым сильным приправам и другим возбуждающим средствам, чтобы снова возбудить голод и дать возможность поглотить новые кушанья. Но главное дело вечера еще не было окончено. Крайнее обжорство, действительно, составляло большую часть праздника, но обжоры той эпохи теснились на пирах в особенности с целью безмерно пить, рассчитывая, без сомнения, на то, что и после пресыщения изобильное пьянство позволит им снова есть. Римлянин и в пьянстве не был похож на варвара, он искал не того возбуждения мозга, какое вызывается опьянением, нет – он много ел для того, чтобы чудовищно пить, и до излишества пил, чтобы снова есть.

Наконец новая группа рабов очистила стол. Это были нубийцы-евнухи, в белых чалмах и ярко-красных туниках, осыпанных жемчужными и золотыми блестками. Они принесли десерт: отборные фрукты, уложенные в вазы из самой редкой глины, пирожные в серебряных резных корзинах, ветки сирских фиников, положенные на миниатюрных верблюдов, сделанных из золота и отличавшихся изысканностью работы. Посредине стола были поставлены кусты

цветов, а по углам возжены благовония. Сзади каждого дивана, на которых покоилось по трое гостей, стояло по одному глухонемому чернокожему виночерпию. Этих служителей приобретали на вес золота и изыскивали во всех четырех углах империи, но цезарь в особенности гордился их сходством по росту и лицу. Сегодня ему служили германцы, завтра галлы, на следующий день эфиопы и т. д. И хотя эти служители Бахуса были лишены слова и слуха, однако они не упускали случая наблюдать за всем тем, что происходило на собраниях, за которыми они присутствовали, и молва говорила, будто эти придворные глухонемые слышали больше тайн и раскрывали больше секретов, чем все старухи Рима, взятые вместе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.